

Петр Филиппович Якубович

**В мире отверженных. Записки
бывшего каторжника. Том 1**



Петр Якубович

**В мире отверженных. Записки
бывшего каторжника. Том 1**

«Public Domain»

1896

Якубович П. Ф.

В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1 /
П. Ф. Якубович — «Public Domain», 1896

Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Мирюлюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как "В мире отверженных". В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с "Записками из мертвого дома" Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.

Содержание

П. Якубович и его книга о каторге	5
В преддверии{ 2 }	17
I	18
III	27
IV	32
Шелаевский рудник{ 14 }	39
1. Встреча	40
II Первый вечер	44
III. Впечатления и знакомства первого дня	48
IV. На шарманке	57
Конец ознакомительного фрагмента.	66
Комментарии	

П. Ф. Якубович

В мире отверженных. Том 1

П. Якубович и его книга о каторге

"Мельшин стоит особняком, это большой, неоцененный писатель, умный, сильный писатель", – так характеризовал А. П. Чехов Петра Филипповича Якубовича (Л. Мельшина) – своего современника, известного деятеля революционного народнического движения, видного поэта-борца, автора замечательной книги "В мире отверженных".

Воздействие творчества Якубовича на передовых читателей-современников было значительно. Большевистская "Звезда" писала, что в годы реакции и первой русской революции произведения Якубовича "будили ото сна, поднимали падавших духом, призывали к девятому валу... его борьба не прошла напрасно: его идеалы нашли сочувственный отклик в сердцах народа, а его поступки вдохновили не одного героя на борьбу, на подвиг..."¹

Старейший деятель революционного движения Е. Д. Стасова в статье "Как мы получали и распространяли нелегальную литературу" вспоминает, что они "читали и разбирали" с учениками запрещенные произведения Мельшина (Якубовича).²

Жизнь Якубовича – яркий пример героического служения народу, П. Ф. Якубович родился 22 октября (3 ноября) 1860 года – в сельце Исаеве Новгородской губернии, в разорившейся мелкопоместной дворянской семье. В истории освободительного движения в России известен один из предков Петра Филипповича декабрист Александр Иванович Якубович, умерший в сибирской ссылке. В память о нем писатель впоследствии, в революционном подполье, избрал себе конспиративное имя "Александр Иванович".

Юношу рано захватили революционные идеи. Якубович признавался В. Г. Короленко, что "тип убеждений" революционера наметился у него "еще в младших классах гимназии".³ В 1878 году, окончив Новгородскую гимназию, Якубович поступает в Петербургский университет. Будучи студентом, он принимает активное участие в сходках и манифестациях, политических выступлениях передовой молодежи и попадает "на замечание" университетского начальства. Ранние поэтические опыты Якубовича были одобрены Салтыковым-Щедриным и печатались в "Отечественных записках" и радикальных журналах "Дело" и "Слово". На боевую лирику молодого поэта обратил внимание А. И. Желябов.

Летом 1882 года, после окончания университета, Якубович вступает в тайную организацию "Народная воля". Писательница В. И. Дмитриева, участница революционных кружков тех лет, так рисует портрет Якубовича: "Он не жил, он горел... В моей памяти ярко запечатлелся Якубович, каким он был в ту пору. Бледный, с горящими глазами, в вечном движении, он с головой погрузился в работу, писал, печатал, агитировал, и так до самого того дня, когда в цепях, с обритой головой пошел в Сибирь, откуда только годы спустя донесся до нас его голос, рассказавший нам о "Мире отверженных".⁴

После ареста одного из руководителей "Народной воли" Г. А. Лопатина и разгрома народолюбческих организаций Якубович фактически остается во главе петербургского революционного подполья. Писателю удалось организовать в г. Дерпте, на квартире студента Переляева,

¹ "Звезда", 1911, № 15, 25 марта; 1912, № 19, 18 марта.

² "Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России", Сборник материалов, М., 1955, стр. 16.

³ Письмо от 29 октября 1896 (Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

⁴ В. И. Дмитриева. Так было (Путь моей жизни). М.-Л" 1930, стр. 205, 216–217.

тайную типографию, в которой был напечатан десятый номер "Народной воли". "Пытаясь воскресить погибшее дело", Якубович стремится сохранить единство революционных сил народо-вольцев; в то же время он пишет и о "расширении революционной пропаганды среди рабочих".

В ноябре 1884 года после двух лет активной революционной деятельности Якубович был арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В 1887 году его приговорили к смертной казни, замененной восемнадцатью годами каторги. В кандалах его отправили в Карийскую каторжную тюрьму, а затем (в сентябре 1890 года) перевели в Акатуй, где политические содержались вместе с уголовными. "Проклятый Акатуй! И благо тому, кто убежит его когтей, высасывающих лучшую кровь из сердца, сушащих мозг и обессиливающих душу",⁵ – писал Якубович украинскому ссыльному поэту П. А. Грабовскому. После каторги Якубович в 1895 году был сослан в Курган под надзор полиции.

Тяжелые испытания не сломили боевого духа писателя. М. Горький говорил об этом: "Бросают в Сибирь на каторгу просто людей, а из Сибири, из каторги выходят Достоевские, Короленко, Мельшины, – десятки и сотни красиво выкованных душ!"⁶

Связав свою судьбу с революционным народничеством, Якубович остался верен идеалам революционеров 70-х годов до конца жизни. "Я родился в 1860-м и по духу всецело принадлежу к поколению конца 70-х, начала 80-х годов", – писал он М. Горькому в январе 1900 года.⁷ Вот почему, вернувшись из ссылки в Петербург, Якубович публично заявил, что предпочитает "отказаться от чести стоять под одним знаменем с современным "народничеством" и носить эту затасканную, а отчасти загаженную кличку".⁸

Вырванный в молодости из рядов народнического освободительного движения и лишенный на каторге возможности участвовать в новых исканиях революционной мысли, Якубович по возвращении из ссылки не пошел дорогой к марксизму. Но, как отметил в "Звезде" Н. С. Ольминский, социал-демократы ценили и уважали Якубовича, относя его к последним "моги-канам русского народничества". Якубович приветствовал первую русскую революцию и принял в ней участие. Однако в самом начале ее, в январе 1905 года, он был вновь арестован и заключен в тюрьму, откуда вернулся тяжелобольным.

Скончался Якубович 17 (30) марта 1911 года в Петербурге.

В историю русской литературы Якубович вошел прежде всего как поэт революционного подполья. Его стихи, полные гражданского пафоса, боевых призывов, глубокой искренности, продолжали в 80–90 годах традиции некрасовской музыки "мести и печали". Написанные "кровью сердечной", они звучали то гневно-обличительно, то и задушевно-лирически. В поэзии Якубовича лирически взволнованно впечатлен светлый и самоотверженный характер, душевный склад поколения героев "Народной воли". "Певцом борьбы и гнева" назвал в "Звезде" Якубовича Демьян Бедный, талант которого открыл и поддержал поэт-народоволец.

Литературная судьба Якубовича сложилась трагически. Более двадцати лет (с 1884 до 1905 года) его имя, как имя "государственного преступника", не могло появиться в печати; поэтому он прибегал к многочисленным псевдонимам; сейчас их учтено двадцать пять. Как поэт Якубович был известен под буквами П. Я., как критик – П. Гриневич, как прозаик – Л. Мельшин. Последний псевдоним воспринимался многими как подлинная фамилия писателя.

С произведениями Якубовича жестоко расправлялось самодержавие: сто книги и стихотворения арестовывались, уничтожались, подвергались судебному преследованию. В Центральном историческом архиве в Ленинграде хранится восемнадцать цензурных дел – с 1878 года, когда поэту было восемнадцать лет, и по 1915 год, когда Якубовича уже не было в живых.

⁵ "Русское богатство", 1912, № 5, стр. 45.

⁶ М. Горький. Собрание сочинений, т. 29, М., Гослитиздат, 1955, стр. 190.

⁷ М. Горький. Материалы и исследования, II. М., Изд. Акад. Наук СССР, 1936, стр. 370. Здесь опубликовано шесть писем Якубовича к М. Горькому.

⁸ Л. Мельшин (П. Ф. Гриневич). Очерки русской поэзии. СПб., 1904, стр. 380.

"В мире отверженных" – лучшее прозаическое произведение писателя – книга необычной судьбы: она написана на каторге. Задумана она была на Каре как "очень большая вещь", посвященная жизни не только уголовных, но и политических узников. Первый том был написан в Акатуе, летом 1893 года, в редкие свободные часы, карандашом на листах махорочной бумаги. Рукопись решено было отправить конспиративно по почте в Петербург, однако посылка застряла в иркутской таможне. Через год до Якубовича дошел слух о гибели рукописи. Поборов отчаяние, Якубович написал книгу вновь, и теперь ее доставила в Петербург, как недавно стало известно, врач Анна Николаевна Бек (1870–1954).

В одном из писем А. Н. Бек сообщала известному писателю-Краеведу Е. Д. Петряеву 15 ноября 1953 года: "Мельшина... я лично не знала, но мне выпало на долю везти в Петербург его рукопись "Из мира отверженных", написанную им в бытность в Акатуевской тюрьме. Оттуда вышел, отбыв срок каторги, доктор Фрейфельд, живший на поселении в Горном Зерентуе. У него сохранилась связь с тюрьмой... Узнав через Фрейфельда, что я собираюсь ехать в Петербург, Мельшин прислал мне свою рукопись, упакованную в громоздкий деревянный футляр, и письмо к его брату Василию Якубовичу – профессору по детским болезням. Этот футляр при поездке через Сибирь на лошадях я берегла как зеницу ока и благополучно доставила его брату Мельшина. Это было в 1894 году".

"В мире отверженных" печатались в народническом журнале – "Русское богатство" – в семнадцати номерах, начиная с сентября 1895 года по июль 1898 года. Журнальный текст, по словам автора, "был порядком изувечен и укорочен" цензурой.

А. П. Чехов едва ли не первый заметил талант Якубовича и в знак уважения послал ему в ссылку свою книгу "Остров Сахалин" с надписью: "Петру Филипповичу Якубовичу от его почитателя, искреннего друга его симпатичной книги. Антон Чехов (21/XI 1896)".⁹ Заинтересовала книга и М. Горького, который, еще не зная в то время настоящей фамилии автора, отправил в 1900 году в редакцию журнала на имя Мельшина "дружеское... товарищеское письмо". Связывая исключительный успех книги "В мире отверженных" с общественным подъемом второй половины 90-х годов, большевистская "Звезда" назвала его двухтомную книгу "захватывающей", а ее автора – "непримиримого Мельшина" – "светлым маяком", освещающим "мрак немой".

Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как "В мире отверженных". В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с "Записками из мертвого дома" Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.

Из современной автору литературы "В мире отверженных" чаще всего сопоставлялись с рассказами М. Горького о "босяках". Якубович заметил в письме к М. Горькому от 29 января 1900 года: "Мне кажется, что герои наши много родственны между собой, разница только – в отношении к ним авторов или, вернее сказать, в душевном строе авторов".

Книга вызвала острые споры, далеко выходящие за пределы литературных вопросов. Ее обсуждали юристы, психиатры, врачи. Книга стала фактом общественного значения.

Реакционеры из "Московских ведомостей" и "Русского вестника", ссылаясь на очерки Мельшина, пытались оправдать репрессивную политику царизма против каторжан, в том числе и политических, родством укрощения которых могут быть лишь "цепи и палка". реакционе-

⁹ "Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома" № 8, V. – Л., 1959, стр. 152.

ров поддержала официальная юридическая наука, увидев героях Мельшина закоренелых "преступников от рождения".¹⁰

Либерально-народническая критика, выискивавшая черты бытовых устоев "русской общины" и в тюремном быте, была разочарована. В книге Якубовича она не обнаружила изображения "общинных идеалов" и потому упрекала автора в том, что своими очерками он "провинился против истинного народничества".¹¹

Якубович выступил против критики, извратившей гуманный смысл книги. Он утверждал, что уголовная каторга – это еще не народ, а "подонки народного моря". "Народ русский – не то же самое, что сборище убийц, маньяков, воров, насильников и развратников, – отвечал Якубович своим оппонентам. – Пускай все эти люди из того же народа... пусть еще многие найдут в себе силы вновь возродиться и опять войти в великое народное море... И, однако, преступная душа все-таки не душа народа русского! Всеми силами слова я протестую против такого отождествления". Демократизм взглядов и суровая правда жизни предохранили автора от "переслащенного" либерального "народолюбия".

Главную задачу своей книги писатель видел в пробуждении истинно гуманного отношения к "отверженным", в стремлении найти пути к их возрождению. Оценивая содержание "В мире отверженных", большевистская "Звезда" отметила, что "Мельшин повел нас в самую глубину того мира, отверженного и несчастного, о котором болело сердце. И в темном мире с невыразимой яркостью блистала душевная чистота непримирившихся", среди которых главную роль играли сосланные на каторгу революционеры.

Сопоставление идейно-художественного содержания "В мире отверженных" с "Записками из мертвого дома" Достоевского позволяет выявить не только преемственность книги Якубовича, но и своеобразие ее замысла. "Записки" Достоевского создавались в эпоху падения крепостного права и художественно ярко запечатлели трагический и зловещий образ "мертвого дома" российской самодержавно-крепостнической действительности. Очерки Якубовича правдиво воспроизвели картину русской каторги в эпоху интенсивного капиталистического развития страны.

Большинство каторжников принадлежало уже к пореформенному поколению, когда шла "быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых "устоев" старой России".¹²

Ломались человеческие судьбы, разрушались семьи, росло число преступлений, каторжные тюрьмы были переполнены. Крестьянство протестовало против буржуазно-помещичьего грабежа, и этот протест, принимая порой дикие формы, приводил нередко к преступлению. Едва ли не самым характерным для пореформенной деревни являются преступления Шемелина, Мусяла и Дашкина, описанные Якубовичем. Шемелин – русский мужик из самой глухой местности, "выросший как пень в лесу... набожный, трудолюбивый, запуганный, богатый терпением и выносливостью", был обижен старшим братом, который "оттягал у него клочок земли". Спор из-за межи длился семь лет. Окончился он убийством "захватчика" и осуждением Шемелина на двадцать лет каторги.

Основной контингент уголовной каторги 90-х годов был уже иным, чем во времена Достоевского. Если у Достоевского большинство заключенных попало в каторжный острог за стихийный протест против крепостнической тирании и ужасов солдатчины, то, по наблюдениям Якубовича, подавляющая масса "отверженных" состояла из бывших крестьян, давно потерявших связь с землей и превратившихся в бродяг, бездомного люда, лишившегося работы, разорившихся мещан. Каторжники были метко окрещены сибирским словом "шпанка" (стадо овец). М. Горький указывал на "серьезное разноречие" в отношении мира

¹⁰ П. И. Ковалевский. Психология преступника по русской литературе о каторге. СПб., 1900, стр. 111.

¹¹ "Русская мысль", 1897, № 12, стр. 556; письмо Якубовича к Горькому от 14 февраля 1900 года.

¹² В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 16, стр. 301.

"уголовных" у Достоевского и Якубовича: "Первый изображает "преступников" людьми преимущественно грамотными и талантливыми, второй же – через 50 лет – видит их в большинстве без или малограмотными и "вырожденцами", дегенератами".¹³

Об изменении социального состава каторги в 90-е годы говорит Чехов в своей знаменитой книге "Остров Сахалин".

Касаясь вопроса о причинах преступности, Якубович решительно отвергает буржуазно-идеалистическую теорию Ломброзо о врожденной преступности. "По моему глубокому убеждению, – указывает Якубович, – не столько природа создает преступников, сколько сами современные общества, условия наших социальных, правовых, экономических, религиозных и кастовых отношений..." "Ненормальность социальных отношений" он считает главной причиной преступности. Поэтому Якубович в отличие от Достоевского делает акцент не на психологических, а на социальных мотивах преступления. Нищета, бесправие, безнадзорное детство, безработица, жажда легкой жизни и обогащения лежат в основе большинства совершенных преступлений, описанных в книге. Из-за денег Ефимов убил в лесу двух торговцев. По той же причине Сокольников убил хозяина, скупщика золота. Луньков "за короб" убил старика. Он же сознался, что его развратили деньги, извозчицья биржа: "Господ возишь по вокзалам, гостиницам, трактирам, видишь, как люди веселятся, хорошо пьют, едят, много денег имеют".

Характерно, что вопрос о причинах, толкнувших на преступление, занимал не только автора, но и самих каторжников, и "все они одинаково скорбели о том, что не сумели и не могли жить честно", и – что самое важное – "от этих дум веяло всегда несомненной, глубокой искренностью".

"В мире отверженных" – книга о царской каторге. Фактическая, документальная, автобиографическая основа ее бесспорна. Но Якубович не был "бытописателем ада" и тем более его фотографом, как В. М. Дорошевич – автор сенсационных, но поверхностных очерков, собранных им в объемистую книгу "Сахалин". Якубович тщательно отбирал материал своих наблюдений в каторжной тюрьме, творчески переосмысляя реальные судьбы героев своего повествования. Так, например, юноша-узбек, послуживший писателю прототипом для создания образа каторжника Маразгали, в действительности, по окончании срока каторжных работ, вышел на поселение. Но для того, чтобы подчеркнуть драматизм его судьбы, писатель в "художественных целях" приводит своего героя к смерти в тюрьме (глава "Ферганский орленок"). Подобных примеров художественного переосмысления авторских наблюдений в книге немало.

Писатель в очерковой форме "записок бывшего каторжника" творчески обобщил большой и разнообразный материал своих тюремных впечатлений, сведя воедино повествование о множестве человеческих судеб, характеров, взаимоотношений (в книге свыше двухсот пятидесяти зарисовок людей каторги). Книга Якубовича в жанровом отношении близка к своеобразному художественно-публицистическому, роману, напоминая и в этом "Записки из мертвого дома" Достоевского.

Перед читателем постепенно разворачивается панорама "русского ада", как называл Чехов сибирскую каторгу и ссылку. Мы видим, как перед отправкой в Сибирь "шельмуются" люди – им бреют головы, заковывают в кандалы, потом их гонят по бесчисленным этапам. Подробно описываются дорожные тюрьмы, дикие нравы "кобылки", прибытие в рудник, первые впечатления и, наконец, тюремные будни с пожирающей скукой и годы изнуряющей работы с истязаниями, карцерами, столкновениями, побегами, трагедиями, смертями – и так до выхода на поселение тех, кто выжил.

Для композиции книги характерна хронологическая последовательность изложения событий, обилие массовых сцен, отсутствие центрального "героя", введение новелл-эпизодов (роман Штейнгарта, "Ферганский орленок", "Кобылка в пути" и др.). Так складывается обоб-

¹³ М. Горький. *Собрание сочинений*, т. 28, М., Гослитиздат, 1954, стр. 162.

щенный образ каторжного Шелая, в котором томятся представители почти всех национальностей царской России. Мы встречаем в каторжном Шелаяе, кроме русских, украинцев (Годунов, Залата, Егоза), поляков (Нияниясс, Пендраль), евреев (Шустер, Борухович), лезгин (Шах-Ламас), узбеков (Маразгали), татар (Зулькарнаев), киргизов (братья Стамбеки, Салманов), молдаван (Абабий, Стрижевский), мордвинов (Буланов), азербайджанцев (Айдар Якубайка), цыган. По широте изображения картины каторги конца XIX века "В мире отверженных" были бесспорно второй книгой после "Записок из мертвого дома" Достоевского, осудившей убедительно и страстно царскую каторгу в целом.

Глубокая гуманистическая мысль о человеке, изуродованном каторгой, роднит "Мир отверженных" не только с "Мертвым домом", но и с "Воскресением" Л. Толстого и "Островом Сахалином" Чехова. Характерно, что, работая над каторжными сценами "Воскресения", Л. Толстой проявил особый интерес к книге Якубовича. Как и в "Воскресении" Л. Толстого, большую роль в книге Якубовича играет прием социальных контрастов, а также отступления, как прямое выражение морально-этических и политических позиций автора. Лирические тревожные раздумья чередуются в книге с философскими рассуждениями о судьбах народа, интеллигенции, родины. Именно в отступлениях вырисовывается образ автора как активно действующего лица, истинного друга и защитника "несчастных". Якубович, как и Чехов, полностью отказался от зарисовки сенсационных уголовных случаев, таинственных "героев" нашумевших процессов, авантюрных историй, характерных, например, для книги В. Дорошевича о Сахалине, и все внимание сосредоточил на анализе типических судеб "отверженных", попавших в тиски мучительной каторги. Для "авторской манеры характерно сочетание публицистической мысли с художественным обобщением.

В книге Якубовича, так же как и в "Острове Сахалине" Чехова, нередки экскурсы в прошлое. Так, в рассказах и легендах старика сторожа встает перед читателем страшный мир дореформенной каторги. Но рассказы о прошлом важны автору не сами по себе. В них Якубович подчеркивает зловещую, трагическую преемственность жестоких нравов каторжного ада, сохранившего почти в неприкосновенности отвратительные традиции времен крепостнического душегубства.

Мысль автора выходит за пределы каторжной тюрьмы. Он размышляет о богатых возможностях сибирского края, о замечательных чертах народа, сохранившего в суровых, неблагоприятных условиях лучшие свойства национального характера. У сибирского народа, который "не знал крепостного права", Якубович отмечает отсутствие раболепия перед властями, практичность и трезвость взгляда: "Ум его (сибиряка) менее засорен отжившими традициями и предрассудками, более способен к развитию новых идей и понятий, отличается большей независимостью и свободолобием".

Вся система изобразительных средств книги раскрывает основной социальный конфликт: борьбу двух враждебных миров: мира "отверженных" с миром властей ("духов") всех рангов, начиная от штабс-капитана Лучезарова до генерала из Петербурга.

Прием социальной типизации и антитезы является определяющим принципом построения и группировки образов, картин природы к описаний обстановки каторжной жизни. Ожиравший "господин начальник" Лучезаров; толстопузый, с красным опухшим лицом заведующий рудником Монахов – и оборванная голодная "шпанка"; губернатор "с ласковым взглядом и убивающей кротостью в голосе" – к чахоточные каторжники (Богодаров и Звонаренко); барская обстановка в доме начальника – и зловонные параши в камерах, напоминающих свинарники; ликующая природа Забайкалья – и обледенелые норы рудников, и т. д.

Обобщающим образом власти в книге является "господин начальник" каторжной тюрьмы, штабс-капитан Лучезаров, прозванный "Шестиглазым". По глубине типизации и остроте сатирической характеристики Лучезаров – большое художественное достижение

автора. Перед нами встает законченный тип палача-джентльмена, нарисованный еще Достоевским в "Записках из мертвого дома", а позже названный Чеховым в "Острове Сахалине" помещицей Держиморды и Яго.

Лучезаров угрожает арестантам не только плетями, как в прошлом "варвар" Разгильдеев. "Нет, я буду бить вас по более чувствительным местам, – говорит он заключенным, – кроме сурового содержания в карцере, на хлебе и воде, в кандалах и' наручниках, даже на цепи, если понадобится, я буду лишать виновных скидок и отдавать под суд", то есть увеличивать срок каторги. За внушительной внешностью сановника ("за самого фельдмаршала сойти мог"), выхоленного человека, пристрастного к острым духам и лайковым перчаткам, кроется заурядный карьерист и циник, презирающий все истинно человеческое. В тюремных "правилах" Лучезарова – розги, плети, суд, наручники, кандалы, темный карцер, телесное наказание "так и пестрели в глазах, так и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу". Личность Лучезарова как-то давила и пригнетала к земле, и "каждый чувствовал себя в его присутствии, как собака при виде поднятого над ней кнута".

Как ни слабо было развито у большинства арестантов чувство человеческого достоинства, но и эти жалкие остатки вытравились в Шелае, на каждом шагу попирались их личность. "Ты – каторжный! Ты – раб и больше ничего! Ни божеских, ни человеческих прав у тебя нет, вон как у тех быков, что возят мне воду!" – кричал Лучезаров на заключенных. В тюрьме решительно все было направлено к тому, чтобы превратить людей в автоматы, действующие по команде и "согласно инструкции".

Якубович показывает, как на каторге "постоянный кошмар злых бесчеловечных порядков, обычаев, привычек", не исправляет, а окончательно портит человека (история Огурцова и Миши Пенто). В эпизоде избиения казаком Васькой большого арестанта Якубович подчеркнул, что даже добрый по натуре человек совершает здесь зверские поступки потому только, что их безнаказанно "принято совершать".

Терроризирующий режим каторги приводит Лучезарова и его "образцовую" тюрьму к полному краху. Но Якубович понимает, что убрать одного жестокосердного начальника – это еще не значит хоть сколько-нибудь оздоровить атмосферу каторжного застенка. Уходят Лучезаровы, но остаются их подручные Пальчиковы, Безыменные, Ломовы – те же "бесчеловечные дубины". В конце книги возникает образ новой каторги – Сахалина, которого "страшились, как смертной казни". Это был "живой гроб, из которого нет возврата назад".

В каторжном Шелае автор обобщил материал карийских и акатуйских наблюдений, свидетелемствовавших о глубоком антагонизме между заключенными и "начальством". Каторжники, подчеркивал Якубович, – "все без исключения отличались страшной ненавистью к "железным носам", дворянам, купцам, чиновникам". При посещении каторги губернатором "все недовольство, какое накопилось в ней годами... все это моментально вспыхнуло, как порох от поднесенной к нему горящей спички, и приняло форму страстного, неудержимого протеста". В стихийном протесте каторжников (особенно Семенова) побудительным мотивом является "непримиримая ненависть ко всем существующим традициям и порядкам, начиная с экономических и кончая религиозно-нравственными".

Но если прошлая жизнь "на воле" научила заключенных ненавидеть барина и чиновника, то она не научила их бороться с ними. Еще менее научить этому могла тюрьма. Отсюда – неспособность к борьбе, характерная для большинства обитателей каторжного Шелая. Естественное чувство протеста у заключенных приобретает порой характер диких, анархических порывов. Якубович отмечает, что каторжниками "проповедовались такие разрушительные теории, какие не снились ни одному анархисту в мире".

В арестантской массе Якубович отмечает суеверие, но за редкими исключениями он не заметил в пей следов религиозного умиления. Характерно, что в книге нет описаний ни одного религиозного праздника (Достоевский посвящает этому вопросу целую главу). Молитва, чита-

емая по утрам, походила скорее на богохуление. В рассказах заключенных "с обычной бранью против закона, веры, бога" автор отмечает особенную злобу и ожесточение против попов. В духовенстве каторга видела защитников власти. Очень характерна сцена посещения камеры немцем-миссионером. Розданные им Евангелия немедленно пошли на курево и другие "еще более низменные потребности".

В книге Якубовича воинствующий гуманистический пафос писателя-демократа противостоит ханжеской религиозно-филантропической морали, проповедуемой "верхами" для "заблудших". Перед писателем стояла трудная задача: найти в испорченном, озлобленном и одичавшем существе искры человеческого достоинства. Не впадая в идеализацию, писатель подводит к выводу, что даже в самой закоренелой душе преступника можно пробудить человеческое, обнаружить скрытую, искаженную невыносимыми условиями трудовую основу народного характера.

Якубовичу удалось убедительно показать (и в этом он видел главную задачу своей книги), "как обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно, глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что стоит преградой на пути к человеческому счастью".

В книге Якубовича немало мест, перекликающихся с заключительными словами из "Записок из мертвого дома" Достоевского: "И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости: сколько великих сил погибло здесь даром". Аналогичный мотив пронизывает и "записки" Якубовича: "Эта злосчастная каторга, утопающая во тьме, в крови и грязи, она сама не знает, сколько здоровых, светлых зерен таится в ее сердце".

В рассуждениях безнадежно "отпетого" Мишки Шустера о необходимости жить честным трудом автор уловил пробуждение совести и "глубокую искренность". В угрюмом Петре Семенове, осужденном на каторгу за бесконечные грабежи и побеги он нашел задушевность, чувство чести и товарищества, умение сдерживать "дикую натуру". Семенов умел не только работать с огоньком, но и толково объяснить Ивану Николаевичу, как надо бурить, потому что "без учителя не учатся". Во время работы Семенов преображался и казался титаном, от мощных ударов которого содрогалась гора. Лицо его порой озарялось улыбкой и "пленяло чисто детским простодушием". В неповоротливом Ногайцеве во время работы "чуялся тот же богатырь сказочных времен". В его страшном преступлении автор отмечает отсутствие цинизма и "сознательной развращенности". "Дай мне волю, – говорит Ногайцев, – я опять настоящим человеком стану". В арестантских стихах вечно заспанного увальня Владимирова ("Медвежье Ушко") автор неожиданно уловил "довольно сложный процесс мысли и чувства, в сущности очень близкий и родственный тому, – пишет он, – который сам я переживал и чувствовал". В Чирке, этом предмете вечных насмешек и шутовства, автор разглядел природный ум и добродушие. Чувство прекрасного присуще "Осиновому боталу" – взбалмошному Егору Ракитину, плясуну и песеннику, который мечтает на воле выучить "расчудесную книгу" – "Братья-разбойники" Пушкина. Даже в парашнике Яшке Тарбагане-этой тюремной "траве без названия", найдена "искра": в его голове "постоянно бродила мечта о воле".

Вера автора в светлые стороны человеческой природы простых людей сказалась в создании им трогательных женских образов, от которых веет глубоким драматизмом (Авдотья Финогеновна, Анна Аркадьевна, Настя Буренкова, Пелагея Концова, Юзефа, Ёнталэ, Таня, Елена). Эту особенность отметила и критика, подчеркнув "удивительную чистоту и целомудренность отношений поэта к женщине – другу, к женщине – матери и сестре". Глубоко волнуют психологически тонко написанные Якубовичем образы детей (Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, Рухеню Боруховичи, Кася Мусяла, Кеша Ракитин).

Якубович верит в перерождение "преступной души" и считает, что для этого. нужны не "авторитет кулака", не проповеди миссионеров, а коренное изменение социальных усло-

вий. Чтобы бороться с преступностью, прежде всего необходимо дать "народу работу и кусок хлеба" – таков вывод автора.

В связи с проблемой перевоспитания "отверженных" в книге остро поставлен вопрос о роли каторжного труда. Отношение к подневольному труду, который был методом наказания, мучительства и калечения людей, было проникнуто у каторжников нескрываемой ненавистью. На каждом шагу они ловко водили за нос надсмотрщиков, умели "тянуть волюнку", хотя и знали, как надо работать, если эта работа сверх каторжного "урока" хоть минимально оплачивалась горным ведомством.

Якубович подметил, что безвозмездный каторжный труд, который заключенные воспринимали как "даровую работу на барина", особенно развращает и ожесточает арестантов. Вместе с тем жажда свободного труда "на воле" пробуждает стихийное стремление отверженных к совместным действиям (помощь товарищам в побеге, выступление против Лучезарова).

"В мире отверженных" – не только книга об уголовной каторге, но и волнующий рассказ о политических ссыльных. С любовью и художественным тактом написаны образы политических – Ивана Николаевича, Башурова, Штейнгарта. Их деятельность пробуждала стихийные стремления заключенных отстаивать хотя бы немногие права, которые цинично и безнаказанно попирались администрацией каторги. Политическим удалось своими силами организовать медицинскую помощь, обучение неграмотных; в столкновениях с "начальством" они выступали подлинными защитниками обездоленных.

Образ Ивана Николаевича, от имени которого ведется рассказ, занимает в книге наиболее значительное место. С первых же страниц читатель понимал, что Иван Николаевич – "политический", а не осужденный за убийство из ревности, о чем упоминалось в предисловии, рассчитанном на цензуру. Якубович убедительно просил в отдельном издании "обойтись совсем без отвоящего глаза предисловия а la Достоевский".¹⁴

Автор подчеркивает прежде всего политические симпатии и стремления Ивана Николаевича. С большим волнением он рассказывает о трагической участи революционного поэта М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышевского, о могилах польских повстанцев 1863 года. Во время работы в шахте в его воображении возникают образы декабристов, томившихся до него "в каторжных норах". Он с любовью цитирует стихи Тараса Шевченко, сравнивает себя с Кротом из поэмы Некрасова "Несчастные" и т. д. Все эти места вычеркивались или смягчались цензурой.

Наконец, весь нравственный облик Ивана Николаевича, его просветительская деятельность среди уголовных говорили о том, что это человек "совсем особого рода", "без кризиса" – "политический".

Среди уголовных типов Иван Николаевич социально и духовно одинок, хотя, в отличие от Достоевского, отношения с каторжниками с самого начала у него установились в основном дружеские. Преследуя цель полного разобщения политических, устранения возможности взаимной поддержки, царское правительство распределяло их среди уголовных, рассылая народолюбцев, в отличие от декабристов, не в одну, а разные каторжные тюрьмы. Однако и здесь, без панибратства и заигрывания, Иван Николаевич нашел путь к сердцам каторжных, "Миколаичу" они поведали свои думы и не ошиблись. Любовь автора к "отверженным", "не была только красивым порывом, но была любовью деятельной, любовью, не знавшей преград, не боявшейся жертв" – писала большевистская "Звезда".

Иван Николаевич – не автопортрет Якубовича, хотя многие черты его нравственного облика, несомненно, близки автору (товарищество, гуманизм, умение понять внутренний мир отверженных, тонкое чувство прекрасного). Однако писатель стремился создать типичный образ передового современника, человека революционной народнической складки, который

¹⁴ Письмо А. И. Иванчину-Писареву от 25 февраля 1896 года (Институт русской литературы Академии наук СССР).

и в жестоких условиях каторжной тюрьмы, среди одичалых и озлобленных уголовников не сломился и не растерял качеств "народного заступника". Подчас в авторском повествовании писатель как бы подменяет рассказчика. Это связывает литературного героя книги – "современника" с живой и конкретной личностью поэта-народовольца; заставляет читателя угадывать его задушевные мысли, чувства и настроения.

Некоторые черты своей личной биографии и факты из жизни близких ему людей Якубович использовал, работая над образами других "политических". Так, в исповеди Штейнгарта отразились некоторые факты личных отношений писателя со своей невестой Р. Ф. Франк. Эпизод приезда Тани (в ней улавливаются черты сестры писателя – М. Ф. Якубович) напоминает встречу Якубовича с Р. Ф. Франк в Горном Зерентуе.

Нельзя согласиться с высказанным в критике мнением (М. Янко, Д. Якубович), будто в образе Ивана Николаевича не отразились черты политического борца и революционного поэта. Это необоснованный упрек. На каторге герой Якубовича не отказался от активной революционной борьбы, но изменил ее формы. В остроге для него были закрыты все пути для открытой политической пропаганды, так как неграмотные арестанты путали слово "идеал" со словом "дьявол", а "ученик" со словом "учитель". Поэтому его Иван Николаевич изменяет тактику борьбы, выдвигая на первый план проблемы просвещения, связывая моральные вопросы с задачами освободительного движения.

Сама тема каторги, выдвигая вопрос о социальной природе "преступления и наказания", подсказывала постановку этических проблем, но философское и художественное решение их в книге отличалось от концепций Л. Толстого и Достоевского. В решении этих проблем у Якубовича не было намека на возрождающую силу религии или внезапное духовное "воскресение" героев (Раскольников, Нехлюдов), мировоззрение Якубовича формировалось под воздействием гуманистических идей революционных просветителей. В 1898 году в полемике с декадентами он утверждал, что с юных лет он "воспитался на Белинском и его художественных идеях".¹⁵ По мнению Якубовича, русская литература "не знает ничего более сильного и энергичного", чем знаменитое "Письмо Белинского к Гоголю", "которое, будучи вместе с тем и письмом к русскому обществу, сыграло такую крупную роль в истории его самосознания..."¹⁶

Очень высоко ценил Якубович этическую программу великих революционных просветителей 1860-х годов – Чернышевского, Добролюбова и Некрасова. Писатель глубоко и органично впитал гуманистические традиции передовой русской литературы, самоотверженно защищавшей честь и достоинство-человека.

Воинствующий демократический пафос нравственных идей Белинского и "шестидесятников" ощущается в произведении Якубовича и когда он с возмущением говорит о кошмаре чуждых бесчеловечных порядков", и когда гневно выступает против телесных наказаний и защищает нравственное достоинство "отверженных", которые жаждут "мыслить и чувствовать по-человечески", и когда страстно разоблачает реакционные утверждения "верхов", будто народу "грамота даже вредна". В излагаемых на страницах книги взглядах писателя-народовольца на прогресс и просвещение народных масс оживают передовые традиции революционно-демократической мысли XIX века.

Книга Якубовича, продолжая демократические традиции русской литературы, многими своими положениями перекликается с идеями Белинского, с нравственными идеалами поэзии Пушкина и Некрасова, Писатель ставит в ней вопрос о демократическом нравственном идеале свободного человека, о моральном долге интеллигенции перед угнетенным народом, о неизбежной переоценке нравственных норм в борьбе за свободу и человеческое достоинство.

¹⁵ "Русское богатство", 1898, № 8, стр. 112.

¹⁶ Там же, стр. 107.

Писатель подчеркивает, что века рабства и гнета оставили свои тяжелые следы в духовном облике человека каторги и явились сильной помехой для возрождения "отверженных" к трудовой жизни. Тем не менее мораль уголовного каторжника, несмотря на всю свою уродливость, была открыто враждебна морали Лучезаровых и оказывалась порой более человеческой. Как волновалась, например, тюрьма, узнав о приказе разорить сотни гнезд ласточек с птенчиками под крышей тюрьмы, потому что от них "сор на фундаментах". Арестанты признают, что они варвары, но "до такого варварства не доходили". Арестанты "тоже люди, хоть и убитые богом", – говорит Соколыцев, "Ссылный" – тоже человек", – подтверждает Годунов. "Я разве не человек?" – спрашивает еврей Борухович, и т. д. Подлинная человечность "отверженных" сказалась также в отсутствии у них чувства национальной розни и антисемитизма. "Русская каторга абсолютно чужда всякой религиозной, а тем более расовой непримиримости. Вот народ, который знает лишь две породы людей – угнетателей и угнетенных", – таков вывод автора.

Идея обучать "отверженных", приобщить их к художественному слову возникает у Ивана Николаевича в первые же дни знакомства с заключенными, так как в каторжной тюрьме во многих камерах царил "поголовная безграмотность". В условиях каторги литература была едва ли не единственным средством борьбы с нравственным одичанием, Гуманная и свободолюбивая поэзия Пушкина и Лермонтова, мир образов Гоголя и Шекспира непосредственно воздействовали на впечатлительных, хотя и темных, безграмотных слушателей, приобщали их к нормальной духовной жизни общества, нравственно облагораживали их.

Слушая "с пожирающим интересом" чтение "Дубровского", "Капитанской дочки", "Бориса Годунова" Пушкина, "Мертвых душ" Гоголя, "Отелло" и "Короля Лира" Шекспира, большинство каторжников "отдавалось настроению автора и получало те же впечатления, какие получают все нормальные читатели и слушатели". Знаменательно, что и в самой среде "учеников" Ивана Николаевича, безграмотных и темных каторжников, автор уловил искры подлинной поэтической одаренности. В книге широко отразилось устное народное творчество как одно из средств познания народной судьбы и характера. Якубович использовал различные жанры фольклора (песни, легенды, сказки, пословицы и поговорки, прозвища, меткие выражения). Приводя несколько народных песен, автор тонко передал манеру исполнения, особенности голоса и поведения исполнителей (Ракитин, Маразгали), воздействие их на слушателей. Тем самым Якубович раскрыл через песню душевные переживания каторжников, их талантливость, поэтическую восприимчивость, углубил их психологическую и национальную характеристику. Той же цели служило и использование автором лексических и фразеологических особенностей народного языка, интонационного склада народной речи. Языковое богатство книги без намека на стилизацию воспринимается как отражение многообразных народных характеров и быта.

Признавая необходимость просветительской деятельности, направленной на распространение передовых идей, Якубович понимал, что одного просвещения для преодоления ужаса каторги недостаточно. Он рассматривал свою "школу" на каторге лишь как одно из средств для пробуждения сознания, главное же, по мнению писателя – это изменение общественного строя, обрекающего народ на нищету и бесправие.

Однако в книге Якубовича отразились и некоторые утопические стороны народнического мировоззрения. Рассуждая о средствах изменения общества, Иван Николаевич развивал перед каторжниками мысль "о силе и власти просвещения". В его просветительской утопии ощущается влияние народнической теории "естественного прогресса". В своей книге писатель еще не мог поставить вопрос о роли пролетариата в революционно-освободительной борьбе. Но не эти слабые стороны идейно-художественного содержания "В мире отверженных" определяли пафос прогрессивной книги. Сблизившись с миром народных страданий на каторге и в ссылке, Якубович полнее ощутил историческую силу пробуждающихся народных масс. В образе бога-

тыря Семенова, иступленно дробящего гранитные глыбы, Иван Николаевич увидел олицетворение проснувшихся народных сил и остро почувствовал свое "дворянское худосочие". Ему думалось в эти минуты: "Вот правдивый образ народа и интеллигенции! Как он могуч и как вместе с тем и слеп, этот несчастный труженик – народ, и как жалка ты, зрячая интеллигенция".

Иван Николаевич видит, как в каторжной массе накопились огромные силы, которые бурлили, бессильно ища выхода. Их пробуждению препятствовали не только условия тюремной изоляции, но и противоречивость нравственных понятий "отверженных". Анархическое бунтарство в среде заключенных уживалось нередко с равнодушием, пассивностью и даже рабским смирением. Отдельные попытки открытого протеста кончались неудачей: татарин Бандулов, выступивший против Разгильдеева, был "затопан ногами", лезгин Шах-Ламас, бросившийся с ножом на Лучезарова, затравлен в карцере, В самой безысходной противоречивости настроений каторжной тюрьмы, в мучительных раздумьях автора над судьбами "отверженных" современный автору передовой читатель видел необходимость коренных социальных перемен, которые могли уничтожить не только варварски жестокий институт царской каторги, но и породивший его эксплуататорский буржуазно-дворянский общественный строй.

"В мире отверженных" – книга большого дыхания. Советский читатель с интересом прочтет ее и по достоинству оценит это выдающееся произведение революционера-народовольца, который, по словам большевистской "Звезды", "отдал себя целиком на служение Родине для счастья грядущего человечества".

Б. Движанинов

В преддверии^[2]

*Бледные тени! Ужасные тени!
Злоба, безумье, любовь...
Едем мы, братец, в крови по колени, —
"Полно – тут пыль, а не кровь..."*

Н. Некрасов^[1]

Много лет довелось мне прожить в мире отверженных, и прожить не в качестве постороннего наблюдателя, а непосредственно участвуя во всех мелочах их жизни, лежа рядом на тех же нарах, питаясь той же омерзительной баландой, работая ту же работу, деля отчасти и умственные и нравственные интересы. Часто поэтому подмывало меня и до сих пор не покидает желание передать свои впечатления бумаге, поведать о них свету.

Правда, страшно браться за задачу, которая однажды была уже блистательно выполнена великим художником. Несмотря на то, что цели, которые я ставлю себе, очень скромны и я совершенно чужд претензии на художественность письма, мною все-таки овладевает невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о существовании "Записок из Мертвого Дома": таково очарование гения...

Я долго колебался... И только мысль о том, что столько изменений произошло в этом мрачном мире со времен Достоевского, что его эпоха отделена от нас уже несколькими десятками лет, так многообразно отразившимися на всех сторонах и явлениях русской жизни, а между тем не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли в каторгу, – одна только эта мысль побудила меня взяться наконец за перо и оттолкнуть все сомнения. Исполню свою задачу так, как позволят мои силы, не становясь на ходули и добиваясь одной награды – признания искренности.

Для начала попытаюсь изобразить путь в Сибирь по этапам, составляющий как бы преддверие мира отверженных. Насколько мне известно, никто еще достоподобным образом не описал в нашей литературе всех красот и прелестей этого невольного вояжа – к счастью, с проведением сибирской железной дороги^[3] отходящего уже в область истории. Но, с другой стороны, спешу оговориться: читатель не найдет в этой части моих очерков непосредственного изображения арестантского мира. Будучи "политическим преступником", я ехал в каторгу с сравнительным комфортом – пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу и пр. Одним словом, я был в то время еще дилетантом-каторжником, только что начавшим знакомиться с новым своим положением; наблюдения мои неизбежно должны были отличаться поэтому некоторой поверхностностью и подчас прямой неверностью. Тем не менее я надеюсь, что, и здесь могу сказать кое-что любопытное и неизвестное большой публике.

I

Начало своей каторжной жизни, как это ни странно, я помню очень смутно. Много рисуется мне будто во сне, и за некоторые факты я не поручусь даже – точно ли они были в действительности или же только пригрезились мне. Это произошло оттого, конечно, что я был и физически и нравственно болен, хотя никому из врачей, свидетельствовавших меня, не приходило этого в голову. Я очень долго сидел под следствием, в тяжелом одиночном заключении, без книг, на одной казенной пище, в угнетенном душевном состоянии.^[4] Особенно тяжелы были последние недели заключения, когда из далекой провинциальной глуши притащилась в столицу моя старая мать (какая-то добрая душа "обрушила утес на ее грудь", сообщила ей обо всем). Она вся поседела и согнулась от горя, хотя за какие-нибудь три года перед тем я видел ее вполне бодрой, черноволосяй еще женщиной – никто не давал ей на вид больше сорока лет. На свиданиях со мною она старалась казаться по-прежнему веселой и бодрой: наивная душа, она думала ободрить меня этим! Но я не мог не видеть ее опухших от слез и покрасневших глаз, не мог не улавливать по временам глубокой-глубокой грусти в ее ласкающем взгляде, не мог не догадываться, что она неустанно хлопочет, обивает пороги, кланяется, молит, плачет...

Ах, проклятые, проклятые дни!.. Сколько высосали вы крови из сердца, сколько влили в него яда, сколько отняли лучших сил... Мимо, мимо! Не хочу вспоминать... Одно скажу: страшно было последнее свидание с матерью. В тюремных снах я часто испытывал кошмары, но ни один из них никогда не мог сравниться с болью и ужасом нашего прощания!..

Расстались мы часа в три дня, а в шесть, как объявил мне смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню как сейчас, что я тогда испытывал. Кандалов я до тех пор не видел, как не видел и бритых голов; из книжных описаний тоже мог составить лишь слабое понятие, по той простой причине, что не имел надобности и охоты вникать в них. Все это я представлял себе совсем иначе и, нужно сознаться, гораздо хуже. Мне почему-то казалось, например, что, когда закуют в кандалы, уже нельзя будет свободно двигаться, и потому я спешил насладиться последними минутами свободы, торопливо расхаживая по своей маленькой клетке, позволявшей делать всего три шага в один конец. И вот наступила роковая минута; меня повели в баню – и там ошельмовали: обрили гладко-нагладко ровно половину головы (правую половину в продольном направлении) и заковали крепко-накрепко в десятифунтовые кандалы с железными кольцами, так тесно обнимавшими щиколотку ноги, что с трудом проходило между ними и телом нижнее белье. Через несколько дней у меня распухли ноги, так что принуждены были перековать меня в более просторные и легкие оковы. Впоследствии я убедился, что в Сибири, особенно Восточной, начальстве в этом отношении снисходительнее: и на кандалы и на бритые там склонны глядеть как на устарелую и ни к чему не нужную формальность. Партии сплошь и рядом идут раскованные, держа кандалы в мешках вместе с прочими казенными вещами; головы бреются тоже без особенного педантизма, а в каторжных тюрьмах часто и вовсе не бреются. Не то в России и в Западной Сибири. Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не мешали бежать и скрыться кандалы или бритая голова: обнаженный череп легко прикроет парик или даже просто шапка; любые кандалы можно разбить в пять минут, хорошенько ударив по кольцу дверью или поленом и разбив заклепки; иногда достаточно бывает и простого сплюснения кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла через него. Серьезно мешают побегу только тюремные стены и конвой.

Кандалы и бритые головы, несомненно, имеют в виду одну только цель – надругание над достоинством человека, лишеного прав.^[5] Не в столь отдаленную старину на лицах и плечах колодников выжигались каленым железом особые клейма, и до сих пор еще можно встретить в Сибири, в каторжных богадельнях и на поселении дряхлых стариков, имеющих эти ужасные печати. Но современное просвещение запрещает уже подобного рода варварство, находя его

одной из разновидностей средневековой пытки; оставлены только кандалы и бритые головы... И нужно ли доказывать, что и это лишь своего рода уцелевший пережиток? Можно ли не жалеть, когда время от времени замечается на этот счет поворот в сторону реакции, издаются циркуляры о строгом и неукоснительном выполнении закона, и арестантам начинают снова по-настоящему брить головы и надевать на ноги оковы? Припоминая свой личный опыт, я могу, впрочем, сказать, что с этими последними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, нежели с бритьем: кандалы в значительной степени опоэтизированы преданием и народной песней, они являются в глазах арестантов своего рода почетом, а не поруганием... Совсем иное чувство испытываешь, глядя на приготовления солдата-цирюльника к своему отвратительному делу. Бритье головы, кроме нравственной муки, причиняет еще обыкновенно и чисто физическую боль: неумелые руки и тупые бритвы режут до крови кожу на голове, расцарапывают на ней мелкие прыщики, делают ссадины на естественных неровностях черепа... Кровь, смешанная с обильно струящимся по голове грязным мылом, совершающий свою операцию равнодушный и безмолвный палач, гримасы и вскрикивания оперируемой им жертвы – все это превращает в подлинную пытку те минуты, когда приходится ждать своей очереди, чтобы быть так же ошельмованным и так же изувеченным. Не говорю уже о необходимости морозить потом голый череп во время ужасных сибирских холодов и схватывать, неизвестно чего ради, простуду, кашель и насморк.

Кандалы не раз уже были подробно описаны в русской литературе. На каждую ногу надевают по большому железному кольцу, настолько свободному, чтоб между ним и телом могло проходить белье, и настолько тесному, чтоб его нельзя было снять с ноги, и кузнецы наглухо заклепывают их. От этих колец идут две цепи, состоящие из маленьких колечек; они сходятся в одном более значительном кольце, к которому прикрепляется ремень, заменяющий арестантам пояс. Таким образом, самые цепи висят и при движении хлопают по ногам и ударяются друг о дружку – "бряцают", "лязгают". Кольца, надетые на ноги, вертятся и причиняют боль, для устранения которой служат кожаные "подкандалники" и "поджильники". В Восточной Сибири, где начальство не так педантично, как в России, и арестанты носят кандалы только для формы, кольца надеваются прямо на сапоги, и тогда никаких подкандалников и поджильников не нужно. Я давно уже не ношу кандалов и объяснить теперь достаточно ясно, пожалуй, не мог бы, как умудряются арестанты надевать на ноги белье и штаны в том случае, если кандалы не снимаются; однако хорошо помню, что как только явилась необходимость в этом, я отлично сообразил все без чужой помощи. Нужда научит калачи есть...

Еще хорошо запомнился мне день отъезда, или, лучше сказать, одна мучительная сцена, сопровождавшая этот отъезд. В этот день мать не пустили ко мне на свидание (прощание, как я рассказывал уже, происходило накануне, в день заковки). Рано утром меня посадили в закрытую карету и помчали на станцию железной дороги. И вот тут увидел я нечто необычайное, что положительно растерзало мне сердце. Подле самого окна быстро мчавшейся кареты я увидел дорогое лицо, искаженное мукой нечеловеческих усилий казаться веселым; я подумал сначала, что брежу, галлюцинирую... Заглядываю в окно – и что же вижу? Моя мать – бедная, больная старуха – с раскрасневшимся лицом и выбившимися из-под шляпки жидкими прядями белых как снег волос бежит рядом с каретой; бежит, не слыша под собой ног и, видимо, не ощущая усталости, что-то говорит и делает рукой воздушные поцелуи... Бедняга! Она опоздала к тому моменту, когда меня сажали в карету, потому что с раннего утра бегала хлопотать о свидании (накануне ничего не могла добиться), и вот теперь ей хотелось искупить свой проступок ("опоздала!") и еще раз проститься с бесконечно любимым сыном. Я махал ей в окно рукой (махал и сердитый охранитель мой), знаками умоляя остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще бежала она, пока наконец телесная немощь не одержала верх, и карета не умчалась навсегда! Тогда и я, помню, откинулся на спинку кареты и горько заплакал. Больше я не видел матери, да и никогда в жизни не увижу, потому что давно уже спит она вечным сном

на одном из сырых кладбищ бездушного города. Но, уже находясь в Сибири, я получил от нее письмо, одно место которого неизгладимыми чертами врезалось в моей памяти и теперь еще жжет сердце. горячей всякого огня, больней всяких слез.

"После нашего свидания у окна кареты, – писала она, – я взяла извозчика и поспешила на железную дорогу. Но я приехала туда, конечно, позже тебя, как ни погоняла злосчастного ваньку, и потому не могла увидеть тебя, когда ты выходил из кареты. На платформу меня не пустили, как я ни просила, как ни молила жандармов. Пробраться туда тайком также не удалось – за мной приказали следить. Что было делать? Я прибегла к новой хитрости. Сделав вид, что примирилась с судьбой и приняла решение уйти совсем, я, выйдя из вокзала, вместо того чтобы отправиться домой, прошла некоторое расстояние медленными шагами и потом, быстро изменив направление, побежала в поле, по рельсам, рассчитывая, что поезд будет проходить мимо меня и я, быть может, еще раз увижу милое личико... Действительно, мне удалось обмануть бдительность аргусов; но, должно быть, я очень уже далеко зашла в поле, и поезд промчался мимо с ужасающей быстротой, так что ни одного лица я не могла различить. Но я утешилась мыслью, что хоть ты, быть может, видел меня... Я стала на возвышение, на камушек, и усиленно махала платком, пока проносилось черное чудовище".

Увы! я никого и ничего не видел... Я не смотрел в это время в окно, мне никуда не хотелось глядеть, даже в собственную душу, где было так пустынно, Так темно...^[6]

Дальше все рисуется мне в каком-то смутном и беспорядочном виде не имеющих между собой связи обрывков. К счастью – как я сказал уже – везли меня в особых условиях от уголовной партии, и на этапах вплоть до Иркутска я помещался в отдельной от нее камере, с политическими товарищами. Если бы не это, не знаю, как бы вынес я все трудности дороги в том болезненном состоянии, в котором в то время находился. На барже у нас была особая комнатка в каюте, и особое крошечное отделение на палубе (конечно, тоже с решеткой), где можно было дышать свежим воздухом. От общей арестантской палубы оно отделялось простым парусинным брезентом. Помню, я очень любил сидеть на палубе, особенно ночью, и по целым часам вглядывался в темные берега Волги и Камы, бежавшие мимо. Помню, что эти уходившие назад берега казались мне собственным моим прошлым, невозвратными годами молодости, и часто, вглядываясь в темную даль, стоявшую позади, я вздрагивал при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передние же берега, закрытые брезентом, выдвигались только маленькими частицами, соразмерно с движением баржи вперед; эти берега отождествлялись в моем больном воображении с будущим, таким же, как они, неизвестным. Днем я лежал обыкновенно в каюте, забившись где-нибудь в углу, и на палубу выходил очень редко. Вот почему у меня не осталось ясных воспоминаний о роскоши и прелести волжских и камских ландшафтов, которыми так восхищаются все вольные и невольные туристы. Я любовался ими только ночью, при фантастическом освещении звезд или луны.

Среди моих спутников-интеллигентов, шедших в административную ссылку, я был один, осужденный в каторжные работы; вот почему я сравнительно мало ими интересовался, хорошо понимая, что нахожусь в их среде лишь как временный гость; гораздо больше, занимал меня тот мир, что скрывался там, за брезентом, и вскоре должен был стать родным мне... Хорошо помню, что долгое время я страшно идеализировал уголовных арестантов с их артельными нравами и обычаями. Они все рисовались моему воображению какими-то Стеньками Разинными, людьми беззаветной удали и какого-то веселого отчаяния... Среди маленькой кучки интеллигентов кандаальный звон раздавался как-то жидко и прозаично; но там, за парусинным брезентом, где двигались сотни ног, звон этот имел в себе что-то музыкальное, властное, чарующее... Целые века слышала этот звон матушка Волга; в нем была передающаяся из рода в род поэзия, стихийная, безыскусственная... Там страдают без гнева, без жалобы и надежды, страдают, зная, что так и нужно, что иначе и невозможно: "Не взяла моя – значит, меня бей; а коли я опять сорвусь, так уж вы не прогневайтесь!.."

Особенно такие чувства вызывали во мне эти неведомые арестантские массы, когда по вечерам собирался их могучий хор и далеко по Волге разносились, под музыку цепей, дикие напевы, где слышалась то бесконечная грусть, то вдруг опять бесшабашная отвага и удаль.

Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица,
Пей, пей – тоска пройдет!

Первая моя попытка ближе подойти к этому поэтическому миру едва не стоила мне однако – чего бы вы думали, читатели? – глаза!.. Однажды под вечер, выйдя па палубу, я подошел к самому брезенту и прислушивался к несвязному шуму и говору, доносившимся из большого отделения. Вдруг я заметил в одном месте парусины небольшое прорванное отверстие, к которому и поспешил припасть глазом, чтобы ознакомиться с неведомым мне миром. Но не успел я хорошенько рассмотреть море бритых голов и всевозможных фигур современных Стенок Разиных, как чья-то грубая рука ткнула пальцем в мое импровизированное оконце, и я только очень быстрым прыжком в сторону успел спасти любознательную часть своего тела. Больше я уже не осмеливался подходить к отверстию; это было первое мое разочарование/ в этих людях, среди которых предстояло мне столько лет жить, первое свидетельство того, какой кромешный ад тьмы и ненужной злости, бессмысленной жестокости представляет этот таинственный мир, как он чужд мне и как много я должен буду выстрадать, живя с ним одной жизнью...

В Тюмени я впервые увидел лицом к лицу огромную партию арестантов на переключках, происходивших во дворе тюрьмы. Боже! Каких только лиц тут не было – от самых симпатичных и мыслящих до самых отталкивающих и звероподобных; каких не было национальностей, каких имен! В особенности характерны были имена бродяг, составлявших почти половину всей партии. Иван Пострадавший, Петр Потерпевший, Семен Много горя видел, Хвостом на гору, Махнидралов, А я за ним, Непомнящий тридцати двух лет, и так далее, и так далее в том же роде. Любимыми также фамилиями были: Алмазов, Бриллиантов, Львов, Орлов, Соколов, Бурин, Ветров, Скобелев, Гурко и тому подобные громкие и гордые имена.

Но, собственно, только с Томска я начинаю помнить дорогу и все ее впечатления довольно живо и отчетливо. Однако спешу еще раз напомнить читателю, что ехал я хоть и вместе с партией, но жил отдельной от нее жизнью. Я имел свою подводку, отдельное "дворянское" помещение, пользовался сравнительным спокойствием и комфортом. В довершение всего конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью. Повторяю, что в это время я был лишь дилетантом-каторжником и если при всем том дорога была для меня сплошным кошмаром, то я боюсь даже и подумать о том, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении.^[7]

Прежде всего – что такое этапный путь?

Представьте себе по всей линии бесконечного сибирского пути, который тянется от Томска до Сретенска (средоточия Нерчинской каторги), то есть на пространстве трех тысяч верст, разбросанные в двадцати – сорока верстах друг от друга огромные, мрачные здания с решетчатыми окнами, большей частью ветхие, осунувшиеся, веющие холодом, одиноко стоящие где-нибудь в поле или на краю села, в стороне от большой дороги.

Это и есть так называемые этапы – дорожные тюрьмы, в которых отдыхают и ночуют утомленные партии. Точнее выражаясь, из двух таких тюрем одна, поменьше, зовется полуэтапом и только другая, побольше и почище, – этапом; при последнем находятся казармы для местной команды солдат, конвоирующих арестантов, и квартира для офицера, неограниченного хозяина на пространстве двух и даже четырех подобных тюрем. На полуэтапах партия

только ночует, утром следующего дня снова трогаясь в путь; придя на этап, она проводит следующий день в отдыхе, называемом поэтому "дневкою". Таким образом, каждый третий день проходит в бездействии, и этим движение партии, и без того небыстрое, страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство от Томска до Красноярска (500 верст) проходится в месяц времени, от Красноярска же до Иркутска (1000 верст) в два месяца!.. Но уничтожить дневки и вообще двигаться быстрее при тех же условиях – тоже немислимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощенные долгим тюремным заключением и обремененные цепями, в своей тяжелой обуви и ветром подбитых полушубках, все, кроме положительно больных и увечных, идут пешком, и проходить в день больше тридцати верст круглым счетом, без отдыха через два дня в третий, были бы положительно не в состоянии.

Не могу не сказать тут же несколько слов об арестантской одежде. Сибирская администрация, ближе знакомая с климатическими и другими местными условиями, глядит сквозь пальцы на присутствие у арестантов в дороге собственных вещей. Я не говорю уже о том, что, помимо практических соображений, и простая справедливость требует менее строгого и формалистически-жесткого отношения к арестантам, находящимся в пути, только что начавшим свое многострадальное каторжное поприще и окруженным всевозможными неудобствами и лишениями; другое дело – после прибытия на место назначения, где жизнь имеет прочные устои, идет по раз установленной колее. В России чиновники не руководствуются, к сожалению, ни отвлеченными, ни практическими соображениями и неукоснительно следуют букве инструкций. В Москве у меня отобрали все свое и отправили в дорогу в одном казенном одеянии, отняв даже иголку и нитки, и мне пришлось страшно зябнуть, простужаться и вынести много не нужных ни для кого лишений и страданий. Казенные вещи не приспособлены ни к переменам погоды и климата, ни к особенностям отдельных индивидов; все подведено под один ранжир – и рост, и здоровье, и привычки, – тело, как и душа. Так называемые, например, наушники казенной шапки оказались пришитыми таким образом, что лежали у меня на спине, точно я был заяц, а не человек; ноги мои, завернутые в жиденькие холщовые онучки, тонули, как в бездонных бочках, в броднях-левиафанах,^[8] и я не мог в них ходить по-человечески; напротив, узкие брюки с трудом натягивались на ноги и немилосердно поролось по всем швам, треща при малейшем неосторожном движении...

Обыкновенно на партию в четыреста человек, имеющую при себе столько же пудов багажу и изрядное количество стариков и больных, дается тридцать – сорок, подвод, половина которых идет под багаж ("бутор") и отправляется в путь рано утром, еще до выступления партии. Остается около пятнадцати подвод для больных и слабых. Ямщики пускают на каждую подводу четырех, и только после большой перебранки пять человек. Большинство мест занимает такими больными, право которых на сиденье никто не смеет оспаривать, и только очень немного вакансий остается для слабосильных, не могущих пройти пешком всю 25-40-верстную дорогу. Эти места берутся буквально с бою, и часто видишь, как бежит сзади телеги какая-нибудь беспомощная, жалкая личность, тщетно умоляющая "дать посидеть" ей, а на телеге возвышается между тем нахальная фигура здорового детины, сильного кулаком, горлом и именем, бродяги. Нужно прибавить к этому, что распоряжение свободными местами на подводах составляет одну из статей дохода артельного старосты.

Бродяги вообще являются сущим наказанием каждой партии. Это люди – по преимуществу испорченные, не имеющие за душой, что называется, *ni foi, ni loi*,¹⁷ но они цепко держатся один за другого и составляют в партии настоящее государство в государстве.

Бродяга, по их мнению, высший титул для арестанта, он означает человека, для которого дороже всего на свете воля, который ловок, умеет увернуться от всякой кары. В плутовских глазах бродяги так и написано, что какой, мол, он непомнящий! Он не раз, мол, бывал уже "за

¹⁷ Ни чести, ни совести (*франц.*).

морем", то есть за Байкалом, в каторге, да вот не захотел покориться – ушел!.. Впрочем, он и громко утверждает то же самое, в глаза самому начальству.

– Который раз идешь, борода? – спрашивает какой-нибудь офицер с добродушно-фамильярной усмешкой.

– Пятый раз, ваше благородие, – отвечает борода, становясь в солдатскую позу, – два раза за море ходил, два раза в Иркутскую, да вот теперь в Енисейскую.

– Смотри, мошенник, в шестой раз пойдешь- уличу!

– Рад стараться, ваше благородие, – отшучивается мошенник, – авось, к тому времени и вы повышение в чине получите – в Якутскую переведетесь.

Партия хохочет, офицер в смущении отходит в сторону.

– Что вы с такими bestиями поделаете? – обращается он в сторону интеллигентов.

Каторжная часть партии, особенно в Западной Сибири, где бродяги составляют большинство, находится обыкновенно в загоне; их меньше, они бесправнее, запуганнее, на них как бы по преимуществу лежит печать отвержения, даже с арестантской точки зрения: не сумел, мол, выкрутиться! А то и еще хуже: за сухари про-. дал себя!.. Уважением пользуются только "вечные" да те, про которых наверно знают, что они уже не в первый раз идут и опять сумеют "сорваться". Но вообще каторжная часть партии по преимуществу зовется презрительным именем "кобылки" (сибирское название саранчи) и "шпанки" (стадо овец). Положительно отказываешься порой верить тому, что рассказывают о проделках бродяг в тюрьмах и по дороге, а между тем не верить нельзя – это неприкрашенные факты. Бродяги – царьки в арестантском мире, они вертят артелью как хотят, потому что действуют дружно. Они занимают все хлебные, доходные места: они – старосты и подстаросты, повара, хлебопеки, больничные служителя, майданщики, они все и везде. В качестве старост они недодают кормовых, продают места на подводах; в качестве поваров крадут мясо из общего котла и раздают его своей шайке, а несчастную кобылку кормят помоями, которые не всякая свинья станет есть; больничные служителя-бродяги мроят голодом своих пациентов, обворовывают и часто прямо отправляют на тот свет, если это оказывается выгодным. Узнав, что у кого-нибудь из кобылки есть деньги, зашитые в "ошкуре" (в поясе), они подкарауливают его в уединенном месте, хватают среди белого дня за горло и грабят. Делают еще более нахальные вещи. На виду у сотни арестантов какой-нибудь "Иван", одетый в красную рубаху и побрякивающий двумя-тремя серебряшками в бездонном кармане шаровар, присосеживается к чужой жене, начинает обнимать и целовать ее на глазах у мужа и, если тот протестует, с помощью товарищей избивает его до полусмерти, а жену берет себе уже по праву победителя. Хорошо организованная "бродяжня" помещается всегда на нарах. Староста-бродяга, по обычаю выпускаемый в этап. раньше всех, еще до окончания поверки, занимает для своих товарищей лучшие места, а каторжная кобылка ютится большею частью под нарами, на голом полу, в грязи, темноте и холоде. Впрочем, в последнее время бродягам, слышно, сломали рога. Больше всего подкосил их Сахалин, поглотивший в свои недра тысячи беспаспортного люда; сыграли роль и вообще более строгие узаконения относительно бродяжества. Прежде бродяг судили на поселение, где бы их ни арестовывали, но с 1878 года на поселение судят только арестованных в российских губерниях, а всех остальных – в каторгу.¹⁸

Из каторги же сотни и тысячи пересылаются на Сахалин. Ряды бродяг сильно стали редеть – особенно бродяг старых, закаленных в боях, строго следивших за неуклонным соблюдением старинных арестантских законов. К этому нужно прибавить, что тюремные условия изменились: начальство начало вмешиваться в артельные порядки арестантов, в их интимную, внутреннюю жизнь, став при этом решительно на сторону каторжан; во многих тюрь-

¹⁸ Вот почему мечта всякого, беглого каторжника – арестоваться не ближе как в Шадринске (Пермской губ.). (Прим. автора.)

мах бродягам прямо запрещено занимать какие бы то ни было артельные должности. Стала и каторжная кобылка поднимать голову. В томской пересыльной тюрьме, где собирается иногда до трех тысяч арестантов, несколько раз происходили страшные избиения бродяг. В одной такой бойне (в середине 80-х годов) их было убито и изувечено, говорят, до пятидесяти человек. Новый дух, проникающий в тюремный мир, производит общее разложение и падение старинных арестантских обычаев и нравов. Много исчезает симпатичных, но еще более безобразных сторон. Сухарника (сменщика), изменившего своему договору, прежде обязательно, "пришивали", если не в одной, так в другой тюрьме; убивали также того, кто "засыпал" (уличил) товарищей по делу, всех "язычников" (доносчиков). В той же томской тюрьме в прежние годы чуть не каждую ночь случались убийства, и из тюремного колодца нередко вытаскивали трупы пропавших перед тем без вести арестантов. По всему тюремному миру, начиная от Киева вплоть до Владивостока, ходили, бывало, "записки", указывавшие на преступление какого-нибудь арестанта против обычного права и настаивавшие на его "прикрытии". Существовал даже арестантский закон- казнить смертью "язычника" по получении на его счет семи подобных записок...

Теперь бродяги начинают вести себя смиреннее и, когда видят неустойку в словесной стычке с каторжными, только скрежещут зубами и говорят, отходя прочь: "Не те времена... Новый род!"

Возвращаясь к своему описанию этапного пути. У нас, политических, как я сказал выше, было свое отдельное помещение, хотя нередко очень горькой ценой доставалось оно. Этапы построены не все по одному плану, и каждый раз, подъезжая к месту отдыха, мы принуждены были волноваться и гадать о том, что ждет нас в сегодняшнем месте покоя. Если нам давали отдельную каморку, хорошо натопленную и с особым коридором, мы говорили, что попали сегодня в рай. Но очень редко встречалось соединение того и другого достоинства. Иногда нам давали помещение с отдельным ходом, но зато в таком холоду, что зубы не попадали один на другой; в другой раз давали теплую камеру, но без отдельного коридора, и тут же, за нашим порогом, гремела и ревела стоголовая шпанка, слышалась отборная ругань, раздавался адский концерт осипших от натуги голосов и бьющих по нервам цепей. В нашу дверь то и дело заглядывали враждебные лица, бритые головы; если кому-нибудь из нас приходилось выйти на открытый воздух, нужно было проходить через несколько камер, где помещались арестанты, валяясь и под нарами и прямо на грязном полу, на дороге, нужно было шагать через их мешки, через их ноги. А у нас были женщины, молодые девушки... Даже и то обстоятельство, что последним приходилось ночевать в одной камере со своими же товарищами-мужчинами, доставляло им немало страданий и мучений всякого рода. Нужно было менять белье, хотелось хорошенько умыться (что было просто необходимо при нескольких месяцах пути по грязным, отвратительным этапам) – и не находилось укромного уголка, куда можно было бы скрыться от посторонних глаз. Общие старания товарищей импровизировать разные ширмы и занавески могли, конечно, лишь в малой степени скрасить и облегчить тяжесть этого положения. Здесь я подхожу к одному пункту моих воспоминаний, который и "теперь еще леденит мне душу. Я говорю о ретирадных местах, об их ужасающей грязи – и пусть бы только грязи! Главное – о невыразимо бесстыдных условиях, всей своей тяжестью падающих прежде всего, разумеется, на женщин. Местное начальство, по-видимому, глядит на всех уголовных каторжных женщин как на потерянных и потому не заботится о них больше, чем о мужчинах. Насколько справедлива такая точка зрения, не знаю. Лично я – это правда – не встречал ни одной каторжанки из уголовных, которая не была бы на содержании у одного какого-нибудь ивана или у всех арестантов одновременно. Но вопрос в том, не доводят ли женщину до такого падения самые условия тюремной и дорожной жизни? Неужели же все женщины, попавшие в каторгу, уже и раньше были потеряны? Наконец, оставляя в стороне каторжанок, вспомним, сколько идет в каторгу добровольных жен, сестер, матерей, дочерей, о предварительной развращенности

которых вряд ли кто станет говорить. И все они должны жить в тех же омерзительных условиях... Мне скажут, что семейные партии идут отдельно от холостых. Но это одна отговорка. Именно семейные-то партии и представляют сплошной организованный разврат. Из кого они состоят? Из нескольких десятков "холостых", женщин и нескольких же десятков семейств, то есть мужей, жен, подростков и детей. Все это спит вповалку в одной камере. За дверью камеры, в коридоре, стоит большой чан, знаменитая сибирская параша, около которой толпятся мужчины и женщины, без всякого стеснения совершая естественные надобности. Ко всему этому надо прибавить развращенных и развращающих солдат, которые даже после поверки, когда арестанты должны быть заперты в своем помещении, тайком от начальства десятками вламываются в камеру, где происходит в течение всей ночи невообразимая оргия. Крики, визг, хохот, беззастенчивый торг, поцелуи, циничные шутки – все на виду, все открыто... И так идет изо дня в день, из этапа в этап, иногда в продолжение целого года и больше- и при этих-то условиях смеют бросать камнем презрения в девушку или женщину, не сохранивших своего целомудрия!..

Особенно солдаты конвойных команд вносят в арестантскую среду страшный разврат; они же сеют и всевозможную физическую заразу. Сибирский солдат, идущий "конвоировать" холостых женщин, смотрит на эту обязанность как на веселый пикник с рядом занимательных интрижек. Никакой дисциплины, никакой заботы! Сидит себе на подводе, бросив ружье и обнимаясь с каторжными прелестницами, орет во все горло песни, срамословит и знать ничего больше не хочет! Ночи проводит в попойках и разврате, а потом, с угаром в голове и пустотой в кармане, возвращается в казарму, на свой этап, до нового такого же путешествия... Вот его жизнь. Можно себе представить, какой образцовый семьянин должен выйти из такого воина по окончании срока службы в конвойной команде. Впрочем, не лучше бывали в мое время и некоторые из этапных офицеров: по крайней мере не раз слышал я о случаях покупки ими невинных девушек у родителей-арестантов и о других не менее достохвальных деяниях.

В мое время политическим женщинам, как пользующимся отдельным помещением, дозволялось идти, по желанию, и при холостой уголовной партии, но в последние годы (вероятно, по соображениям нравственного характера!) вышло, говорят, предписание отправлять их исключительно с семейными. Могу сказать одно, что в холостых мужских партиях нет и тени того безобразия, того откровенного цинизма и распущенности, какие пришлось наблюдать мне в партиях семейных... Ничего ужаснее не могу себе представить, как положение образованной женщины среди подобных условий. Нечистые руки разврата не прикоснутся, разумеется, к ней самой, но уже одна необходимость все видеть и слышать делает ее поистине мученицей! А еще, быть может, тяжелее крест любящего мужчины, жениха или брата, который зорко следит за бушующей вокруг заразой, употребляет все усилия смягчить удушливость окружающей атмосферы, создать более или менее человеческие условия жизни, и часто видит и чувствует, что беспомощен, бессилён что-либо сделать! У меня не было в этом круге никого родного и милого, ни одной близкой мне женщины, и тем не менее я испытал все эти чувства, пережил все эти мучения...

Настает вечер. Солдаты делают поверку и приказывают внести в камеру парашу. Мы протестуем, говорим, что у нас женщины. После долгих переговоров с нами и с офицером старший решается наконец не запирает камеры, а парашу поместить в коридоре. На, одном из этапов, помню, вышла целая история из-за того, что офицер, согласившись на помещение параша в коридоре, хотел тем не менее поставить около нее часового... Трудно сказать, чего здесь было больше – наивности или злостности! Подобные вопросы возникают на этапах ночью, но и днем немногим лучше. На несколько сот человек, среди которых есть образованные женщины и всевозможного рода больные, существует одно только ретирадное место, содержимое большей частью в невообразимой грязи и мерзости... Но довольно об этом. Остальное можно дополнить воображением. Несколько слов прибавлю лишь относительно арестантских ругательств.

Нигде не слышал я такой гнусной, такой отвратительной, звероподобной брани, какую впервые услышал в Сибири среди арестантов, солдат и свободных жителей – ямщиков. Неизвестно, кто из них у кого позаимствовался; правдоподобнее, быть может, думать, что такой изысканный, художественный в своем роде язык мог создаться только в тюрьме. Повторяю: ни от одного мужика в России ничего подобного не слышал я... Там также процветает отборная трехэтажная ругань; над всей русской землей, по выражению сатирика, стоном стоит: "мать! мать!" Но только в тюрьме, только в Сибири ругань эта доходит до виртуозности своего рода, до самых тонких оттенков и самой реальной пластики. В России несчастная "мать" вся целиком служит объектом изливаемых на нее помоев ругателя; в Сибири она разбирается по косточкам, по мелочам, и каждая маленькая часть в отдельности шельмуется и подвергается надругательству: печенка, глаз, сердце, кровь, ребра, душа, жизнь – все является предметом дикой злобы и самой бессердечной ненависти! Этого мало: истинные художники брани идут дальше и приплетают к "матери", совершенно уже без всякого смысла, слова вроде "закона", "веры" и самого "бога" – ругательства, которые при всем своем бессмыслии звучат не менее гнусно и омерзительно.

В первое время я положительно содрогался, слушая эти ужасные богохуления; мне было в буквальном смысле слова больно, как от ударов ножа или плети. В настоящее время я отношусь к ним, конечно, равнодушнее, но и теперь не могу еще без ужаса вспомнить, что все это, решительно все должны были выслушивать и молодые девушки, образованные, с тонким вкусом, с нервной организацией, с чуткой и нежной душой...

И неужели найдется кто-нибудь, кто не поймет меня, посмеется над моими словами?^[9]

III

Большинство арестантов, при которых нет особых бумаг и предписаний, задерживается в центральных этапных пунктах (в Томске, Красноярске, Иркутске) иногда на полгода, на год и даже на более продолжительное время, пока не запишут их в партию. Путешествие до места назначения нередко продолжается, таким образом, от одного года до трех лет. Семейным и мастеровым, конечно, это выгодно, потому что дорожная жизнь несравненно вольготнее каторжной: такие цепляются за каждый случай, дающий возможность продлить дорогу, и часто, являясь на место назначения, уже имеют право на выход в вольную команду, так что и не сидят почти в каторжных тюрьмах. Другое дело – одинокие и не знающие никакого прибыльного мастерства: тем надоедает дорога, и они сами молят начальство поскорее записать их в партию. Но всего мучительнее этот путь для так называемых "обратников", то есть окончивших свои сроки каторги и идущих на поселение. Они движутся еще медленнее: там, где партия, идущая вперед, отдыхает всего один день, обратная сидит порой целую неделю.

Так как самые ранние партии выбираются из России не раньше половины мая, то путешествие по сибирским этапам выпадает – для большинства на осенние и зимние месяцы, когда ко всем прочим страданиям и лишениям присоединяются еще грязь, холод, дожди, вьюги, морозы. Попробую описать типичный дорожный день.

С раннего утра (на дворе едва еще брезжит свет) кобылка уже поднимается на ноги; гром, звон и перебранка раздаются за нашей стеной. Арестанты ложатся рано, но поднимаются еще раньше; некоторые, выспавшись днем, и совсем не спят, напролет всю ночь играя в карты. Спросите их: почему они так спешат на следующий этап? Они и сами не знают. Они и сами говорят про себя: "Кобылка всегда торопится, как будто там отец с матерью ждут нас".

Нередко у нас выходили по этому поводу неприятности. Офицеры и конвой относились к нам большей частью вежливо и даже предупредительно: мы имели свои подводы и с частью конвоя могли отправляться в путь долго спустя после ухода главной партии. Мы догоняли ее, потом обгоняли и первыми являлись на следующий этап. Но иногда случалось, что офицер, имевший какое-нибудь столкновение с предшествовавшей нам партией политических, требовал, чтобы мы ни на шаг не отставали от остальных арестантов – одновременно выступали в поход и одновременно же являлись на этап. Если мы, не узнав накануне о характере офицера, долго сидели вечером, болтали, читали – тогда поутру выходили неприятные сцены. Шпанка уже выстроилась и готова тронуться в путь, а мы только встаем еще, торопимся умыться, одеться, собрать вещи... Шпанка бушует, ругается, жалуется, что из-за "паршивых дворяншек" ей приходится мерзнуть... И добро бы еще предстоял большой и трудный станок, когда желательно прийти на место до сумерек. Нет, часто никаких подобных резонов не приводится: будь станок всего 16–20 верст, кобылка все равно торопится!..

Но вот все сборы кончены. Кобылка помчалась сломя голову. Только звон стоит по дороге, сани с больными и слабыми едва успевают следовать. Есть настоящие виртуозы ходьбы, особенно из бродяг, которые по принципу всегда идут пешком, если бы даже и была возможность присесть. Такие всегда впереди партии: впереди легче и "способнее" идти.

Бегут – едва дух переводят, так что привыкшие к ходьбе солдаты – и те еле поспевают. Прибежали на место совсем рано.

Вот остановились в некотором отдалении от этапа или полуэтапа, выстроились в две шеренги в ожидании поверки. Около тюрьмы ставятся часовые. Фельдфебель пересчитывает арестантов, и тотчас же после того с диким криком "ура" они летят в растворенные ворота занимать места на нарах. Происходит страшная свалка и давка. Более слабые падают и топчутся бегущей толпой, получая иногда серьезные увечья; более дюжие и проворные, усердно работая локтями и даже кулаками, протискиваются вперед и растягиваются во весь рост попе-

рек нар, стараясь занять своим телом как можно больше места и успевая еще кинуть вперед себя халат, кушак или шапку. Таким образом случается, что один подобный ловкач займет несколько сажен места; раз брошена на нары хоть маленькая веревочка, место это считается неприкосновенным. Тут прекращается всякая борьба – таково обычное право. Непривычный и слабонервный человек не мог бы, я думаю, испытать большего ужаса, как, стоя где-нибудь в углу коридора, в стороне от дверей, ведущих в общие камеры, слышать постепенно приближающийся гул неистовых голосов, рева, брани и драки, бешеный звон кандалов, топот несущихся ног: точно громадная орда варваров идет на приступ, идет растерзать вас, разорвать в клочки, все разгромить и уничтожить! Все ближе и ближе... Вот ворвалась наконец в коридоры эта ужасная лавина: дикие лица, искаженные страстью и последним напряжением сил, сверкающие белки глаз, сжатые кулаки, оглушительное бряцанье цепей, яростная ругань – все это, кажется, мчится прямо на вас. Зажмурьте глаза в страхе... Но вот бешеный поток толпы повернул направо, в дверь камеры, и слился в один глухой рев, в котором ничего нельзя разобрать. За первой волной несется вторая, третья, и наконец почти уже шагом плетутся, с проклятиями и бранью, самые отсталые, отчаявшиеся захватить место наверх и принужденные лезть под нары... Мы тоже плетемся в отведенное нам помещение, озабоченные, полные мрачных предчувствий...

Входим в камеру; тускло светят решетчатые окна, неприятно глядят высоко построенные нары, на которые и залезть-то трудно: под потолком теплее, меньше дров выходит на топку печей. Брр! как холодно... От дыхания пар так и валит столбом по камере. Бросаемся к стоящей в углу чугунке – не топлена; даже и дров нет. Разыскиваем сторожа (так называемого каморщика), обязанность которого топить печи к приходу партии.

Мрачный, антипатичный старик.

– Не ждали сегодня партии, – оправдывается он. Врет, конечно.

Кто отводит душу перекорами с ним; более благоразумные, не долго думая, отправляются сейчас же за дровами. Шуб между тем никто не снимает; все стараются согреться ходьбою по камере и топаньем ног по одному месту. Наконец принесены дрова, толстые, суковатые, сырые... Надо их наколоть. Топор уже занят арестантами, тоже колющими дрова; надо погодить. Но вот и спасительный топор явился, вот и дрова наколоты, положены в печку, зажжены... О, проклятие! Новое, горчайшее испытание: железная печка страшно дымит... Дым наполняет всю камеру, невыносимо ест глаза, не дает глядеть, не дает ни о чем думать, ни о чем заботиться... Пытка эта тянется час, два и три, пока наконец сырые дрова разгорятся, дым исчезнет, станет тепло и свободно дышать.¹⁹

Поспевает и какое-нибудь неприхотливое варево, суп или каша, чай. Кормовых выдается на человека почти по всей Сибири 10 копеек в сутки, привилегированным 15 копеек. В Западной Сибири, где все так дешево, где коврига пшеничного хлеба стоит 5 копеек, кринка молока 3 копейки, денег этих за глаза довольно, и арестанты прямо благоденствуют. Многие из них и на воле лучше не питались. Но с переездом в пределы Енисейской и особенно Иркутской губернии провизия все становится дороже и дороже: фунт мяса стоит 10 копеек, фунт черного хлеба 3–4 копейки, и "я помню один этап, где можно было достать хлеб только по 6 копеек фунт. А иному нужно до четырех фунтов одного хлеба, чтобы насытиться!.. В пар-

¹⁹ Не потому, конечно, что уголовные арестанты "подкупили" кого следует, как высказал предположение один из моих критиков, а просто потому, что они практичнее, проворнее и их больше. Вообще нужно заметить, что под влиянием устаревших данных сочинения г. Максимова "Сибирь и каторга" (Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) – этнограф-беллетрист. Его книга "Сибирь и каторга" вышла в Петербурге в 1871 году.) в публике существует совершенно ложное мнение о богатстве уголовных арестантских партий. Не знаю, получают ли они в настоящее время те огромные денежные подаяния, какими наделяла их когда-то прежде Москва и вообще Россия (быть может, эти деньги в России же и растрачиваются, переходя очень скоро в руки начальства или отдельных лиц из своей же братии, майданичников и картежных шулеров); но факт тот, что в пределах Сибири большинство арестантов является уже буквально нищими. В Западной Сибири подаяния еще делаются, и даже довольно щедрые, но почти исключительно съестными припасами. (Прим. автора.)

тиях начинается буквальный голод, тем более что отчаяние еще сильнее развивает картежную игру. Появляются почти совсем голые "жиганы", и приходится быть беспомощным свидетелем ужасной расплаты за промот казенных вещей...

Говорят, что это был исключительный, голодный год, когда все было так дорого, а вообще кормовых денег хватает за глаза, особенно когда арестанты соединяются группами человека в три-четыре, питаюсь сообща. Но, во-первых, не каждый может подыскать себе группу, а главное, такое неравномерное распределение кормовых, без соображения с местными ценами на продукты,²⁰ решительно никогда не гарантирует арестантов от рыночных случайностей.

Администрация, мне кажется, легко могла бы при желании своевременно видоизменять в каждой данной местности количество кормовых, сообразно с ценою съестных припасов. К сожалению, в настоящее время незаметно с ее стороны никакой подобной заботливости. Если и происходит иногда изменение количества кормовых, то благодаря канцелярской волоките до того несвоевременно, точно делается это для смеха: в голодный год денег выдается меньше, в урожайный – больше... Но еще было бы лучше, если бы вместо выдачи на руки денег на каждом этапе ожидала партию горячая баланда и казенный хлеб. Устроить это было бы нетрудно. Поваров-арестантов можно бы отправлять вперед; хлеб закупать заранее у тех же торговков по 'строго определенной казенной цене. Худшая половина арестантов, состоящая из игроков и кулаков-майданщиков, конечно, была бы страшно огорчена такою реформой, но зато и не было бы голодных, сократились бы случаи промота казенных вещей и других безобразий; кто знает – быть может, уменьшился бы и самый контингент арестантов, из которых многих привлекают теперь в тюрьму майданы: картежная игра и иные прелести. Но само собой разумеется, что предлагаемая мной реформа была бы возможна при изменении к лучшему и нравов самих чиновников, имеющих власть над арестантами...

К сожалению, эти нравы оставляют еще желать очень и очень многого. Так, начальник одного этапа имел похвальную привычку не отапливать заблаговременно камер, а когда являлась партия, не давать ей дров под предлогом наступившей уже на дворе темноты, якобы из боязни пожара... Нам рассказывали, что у этого господина было несколько случаев замерзания больных арестантов; я удивляюсь одному – как оставались у него живыми и здоровые... Нашу партию поместили в огромном, сыром погребе, нетопленном по крайней мере в течение десяти дней (во время жестокого мороза). Старший, которого мы позвали для объяснения, только хихикал и отделялся шуточками.

– Ведь это ни на что не похоже, – убеждали его мои спутники, – доложите офицеру. Хорошо, что у нас вот теплой одежды много, а как же прочие арестанты ночевать будут в таком холоду?

– Эхе-хе! – посмеивался старший. – Вы их не знаете еще... У них такие секретцы есть...

– Какие секретцы?

– Да знаете, у каждого из них котелочек там, щепочки в запасе, угольки...

Стоило ли продолжать спор с этим неисправимым оптимистом? Да он и сам поторопился, впрочем, уйти. В камеру втащили парашу, дверь быстро захлопнулась, ключ загремел в тяжелом замке, и мы очутились одни. Арестанты остались целы потому только, что не спали всю ночь, пили чай и бегали по камере, играя в чехарду и занимаясь другими полезными упражнениями... Мне припомнилось при этом утешение веселого фельдфебеля:

"У них такие секретцы есть". Да, живуч и тягуч русский человек, ко многому приспособиться умеет, многими житейскими "секретцами" обладает!

²⁰ Например, в некоторых местностях Забайкалья, где цены не выше иркутских, выдавалось по 20 копеек кормовых. (Прим. автора.)

Начальник описываемого этапа слыл, между прочим, просвещенным человеком и даже либералом; он приходил иногда в камеру политических, запросто беседовал с ними и высказывал самые передовые, порой даже смелые взгляды...

Этапы в большинстве случаев очень ветхи и стары; некоторые из них строились еще в 30-х годах нынешнего столетия, и хотя ремонтные деньги, надо думать, отпускаются в известные сроки, но серьезных перестроек и поправок почему-то не приходится замечать. Можно подумать, что здания эти существуют скорее для крыс, нежели для людей, – такое в них множество этих отвратительных животных, бегущих во время ночи по телам арестантов, поднимающих шумные драки и противным писком своим не дающих спокойно заснуть. Помню, как однажды огромная крыса до крови укусила палец спавшему рядом со мной человеку...

Встречаются, между прочим, погорелые этапы, вместо которых в течение десяти и более лет "не успели" еще выстроить новых. В таких местах партии или проходят два станка в один день, или останавливаются в частном помещении, в обыкновенной крестьянской избе, к окнам которой приделаны железные решетки и в которой нет даже нар – ничего, кроме неизбежной параша. Вся партия спит вповалку на голом полу. Не мудрено, что в подобных условиях, при плохом и недостаточном питании, при непрерывной ходьбе и в страшные сибирские морозы, при жизни в грязи и холоде, организм арестантов, и без того уже истощенный годами предварительного заключения в тюрьме, часто не выдерживает и легко поддается всевозможным тифам, горячкам и другим эпидемическим болезням. Целыми десятками остаются они в больницах и десятками же отправляются отдыхать на близлежащие сопки, где даже убогий крест не отметит места их вечного упокоения... Но и в больницу попасть не так-то легко. Больницы имеются только в больших городах и селах, и я живо помню несколько случаев, когда к этапу, имевшему лазарет, привозились уже одни остывшие трупы... А сколько настрадает несчастный больной, прежде чем умрет! Бросят его, как полено, на подводу, прикроют халатом и везут от этапа до нового этапа. Привезут – и в этапе тоже бросят где-нибудь на полу, в грязи и стуже. Если нет у него родственника или близкого товарища, то никто не позаботится ни напоить, ни накормить, ни спросить, что болит и что нужно. До того ли тут? Каждый заботится о себе, боится, как бы самому не оплошать и не пасть жертвой в этой ужасной битве за жизнь, за сегодняшний день. Огрубело у каждого сердце, окаменело... Я видал ужасные сцены, как, например, арестанты, спотыкаясь о подобных больных, в ответ на их стон принимались угощать их самыми забористыми ругательствами и пожеланиями скорей отправиться на тот свет – и никто не думал вступить за несчастных!.. Варварские нравы, читатель, не правда ли? И мы, интеллигенты, помню, возмущались ими. Но были ли мы сами лучше и добрее арестантов? Почему мы не брали этих больных к себе, в свое более просторное помещение, не ухаживали за ними, не делились с ними последним? Почему? Да потому, что и у нас своя рубашка была ближе к телу, потому, что и нам жилось не легче уголовной партии.

В год моего путешествия свирепствовала на этапах странная болезнь, похожая не то на тиф, не то на нервную горячку и унесшая в могилу множество народа. Болезнь эта, начинавшаяся с сильной головной боли, особенно косила образованных людей, как менее сильных и привычных к этапным лишениям, и на моих глазах, умерло несколько юношей, любимых и уважаемых всеми товарищами.

В холодный осенний день, когда снег лежал уже на земле, но реки еще не стали, мы переплывали на маленьком баркасе, едва не потонувшем под тяжестью повозок, солдат и арестантов, через реку Бирюсу^[10], находящуюся не вдалеке от селения того же имени с этапом посредине. Мы заоченели от холода, ощущали сильный голод и с нетерпением ждали отдыха в теплом и уютном помещении (назавтра предстояла дневка). Кто-то из солдат обрадовал нас известием, что этап большой, чистый и что в нем найдется отдельная камера не только для нашей группы, но и для наших женщин. Последнее было особенно всем приятно. Этап оказался действительно просторным и новым сравнительно зданием, совсем непохожим на те

крысиные норы, какие представляют из себя большинство сибирских тюрем. Мы вбежали в отведенный нам коридор, радостные, улыбающиеся, с оживлением и шумом. Унтер-офицер местной команды, встретивший нас, тоже улыбался при виде общей радости и предложил на выбор целых три камеры.

– Эта вот лучше всех будет, – сказал он, отворяя одну из дверей, – отсюда три дня только назад уехал Л.

– Как три дня назад? – удивились мои спутники. – Ведь он был в прошлой партии, которая прошла две недели назад.

– Так-то так: да он выпросил позволение остаться при больном С., похоронил его, потом еще прожил здесь два дня и уехал с конвойным догонять свою партию.

– Похоронил С.?! С. умер?..

Все как громом были поражены этой вестью... С. был молодой польский поэт, прелестные переводы которого из Надсона и оригинальные стихи нравились даже мне, плохо понимавшему по-польски, и которого за месяц перед тем все мы видели здоровым, сильным, полным бодрости и энергии. Этапное здание сразу потемнело в наших глазах, стало унылым, холодным, неприветным; и когда, шатаясь и бледнея, вошли мы в одну из камер и увидели враждебно высившиеся в вечерних сумерках пустые норы, на нас пахнуло вдруг холодом смерти. Здесь он страдал, здесь умер, почти одинокий, беспомощный, вдали от друзей и родины!.. Правда, любезный унтер, видимо уже каявшийся в том, что сболтнул о смерти С., уверял, будто он умер не в этой, а в соседней камере, куда мы отказались поехать из-за того, но утешение было небольшое. В стене нашего помещения была огромная щель в эту страшную камеру, и, помню, я с мучительным любопытством заглядывал в нее, всматриваясь в сумрачную пустоту, где, чудилось мне, бродил дух поэта. И завывавший по временам в трубе ветер казался мне его стоном...

Но еще больней, чем эта вест о совершившемся уже факте, была обострившаяся благодаря ему тревога за товарищей и знакомых, оставшихся позади или бывших впереди нас. Что-то с ними? Не унесла ли беспощадная смерть еще кого-нибудь близкого, дорогого? И смерть, точно, не щадила в тот год самых нежных привязанностей, поражая друзей, невест, братьев...

Настроение было, разумеется, совсем отравлено, и дневка вконец испорчена. Малейшее недомогание кого-нибудь казалось уже предвестником грозной болезни; и в самом деле, на другой же день серьезно захворал один из конвойных солдат, очень симпатичный малый, с которым внезапно сделался сильный жар с бредом; несмотря на все старания наших доморощенных врачей поднять больного на ноги, его пришлось оставить в Бирюсе. Выздоровел он или умер, мы так и не узнали.

Среди моих спутников не было ни одного человека, основательно изучившего медицину, и тем не менее больные арестанты, конвойные солдаты и даже местные жители толпами валили к нам на этап, ни днем, ни ночью не давая покоя. Слава об их умении лечить гремела по всему пути. И каких только болезней, какого горя не перевидали мы! Какой заразы не приносилось в наше помещение! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики. Приносились грудные младенцы с распухшими шеями, посиневшими личиками и закатившимися глазками; показывались страшные болячки, гноящиеся раны, один вид которых приводил в ужас и прогонял самый жадный голод... И при отсутствии лекарств и достаточных знаний как больно было видеть все эти устремленные на нас глаза, полные мольбы и наивной веры, и чувствовать свое бессилие что-нибудь сделать, оказать какую-нибудь помощь!

IV

В Иркутской тюрьме, где мне пришлось расстаться с административными политическими ссыльными, я захворал и задержался на несколько месяцев.^[11]

В дальнейшем пути, пользуясь, как и прежде, значительными привилегиями сравнительно с прочими арестантами, я благодаря привычке от одиночества нередко им тяготился и испытывал жестокую скуку. Может быть, благодаря именно этому я обратил внимание на красоту и величие забайкальской природы. Особенно поразил меня только что вскрывшийся Байкал, через который мы переезжали на одном из первых пароходов. Как сейчас вижу это грозно-зеленое, клокочущее и скачущее чудовище. В отдалении, за разъяренными валами, виднеются огромные желтые скалы, и грезится, что они так близко – рукой подать, а между тем до них двадцать – тридцать верст!

Оставшись один, с заботами об одном лишь себе, я Как-то невольно стал делать больше наблюдений и над окружающим меня миром арестантов, тогда как прежде сплошь и рядом не замечал происходившего вокруг. Прежде отдельные лица как-то ступевывались в моем представлении; я видел перед собой только огромные массы, имевшие в моих глазах одно лицо, один характер и волю. Теперь из этой громады начали выделяться отдельные человечки и останавливать на себе мое любопытство. Нужно, впрочем, сказать, что той сплошной идеализации, какую некогда окружал я арестантов, во мне давно и следа не было: я хорошо знал, что к их рассказам о себе нужно относиться скептически, что они всегда привирают и т. п.

Опишу для образчика некоторые запомнившиеся мне фигуры.

Прежде всего помню одного странного субъекта из греков с пронзительными черными глазами, страшно худого, со множеством штыковых и огнестрельных ран на теле, полученных во время побегов. Он был очень угрюм и несловоохотлив, однако почему-то любил заходить ко мне, особенно в те минуты, когда никого другого из арестантов у меня не было. Долгое время я думал, что он хочет попросить денег; но денег он ни разу не просил. Однажды я задал ему вопрос, за что идет он в каторгу. Он объяснил мне с самой циничной (хотя и просто выраженной) откровенностью, что в последний раз вырезал с товарищем одну семью. Мне даже жутко стало...

– За что же это? – не удержался я.

– Известно, за деньги, – усмехнулся спокойно мой собеседник.

– Да, но зачем же было резать?.. И притом всех, даже детей?

– Всю породу. В другой раз мы две семьи вырезали. Я невольно содрогнулся и недоумевал, зачем он так говорит.

– А бог? – спросил я. – Разве не боитесь?

– Какой бог? – спросил грек в свою очередь, понизив несколько голос и будто с некоторой грустью.

Где только мы ни бывали. В таких глухих местах, куда и ворон костей не заносит и зверь не заходит. Нигде не видели ни бога, ни дьявола!

– А были ль вы в одиночном заключении? – спросил я еще и, получив отрицательный ответ, пробовал нарисовать собеседнику картину внутренних мучений, овладевающих многими из знаменитых даже разбойников и доводящих их порой до сумасшествия и самоубийства. Он послушал меня минуты две и, ничего не сказав в ответ, вышел под каким-то предлогом.

Вскоре после того я и совсем потерял его из виду: должно быть, он остался где-нибудь в больнице.

Заходил также ко мне щеголеватый молодчик из лакеев в неизбежном пестреньком галстучке и с утонченными, по его пониманию, манерами. Этот мелко плавал и все вспоминал,

какие прекрасные "покупки" делывал он в Петербурге во время публичных казней на Семёновской площади; "покупать" на его языке значило залезать без разрешения в чужой карман. В конце концов я заметил, что он и у меня кое-что "покупал" во время своих визитов...

Зато не могу без улыбки вспомнить милейшего Тюпкина, беглого солдата, пропадавшего два года без вести, наконец добровольно заявившегося к начальству и шедшего теперь в Читку на суд. Это был добродушнейшим парень лет двадцати шести, плохо развитой физически, Грустный, понурый и всегда меланхоличный. Он ухаживал за мной, парил мне обед и чай и жил в моем "дворянском" помещении. В долгие зимние вечера мы много болтали, и я узнал всю его подноготную. Он был страстный игрок и, когда я давал ему немного денег, сейчас же скрывался и всю ночь напролет играл в штос. Поутру кто-нибудь из арестантов сообщал мне, что мой Тюпкин спустил все до последней копейки.

– Не стоит такой скотине благоденствие оказывать, – философствовал при этом доноситель. – Как будто Другой кто не мог бы вам самоварчик поставить или другое там что сделать? Еще благодарность бы чувствовал... А он что? Как он был духом (арестантское название солдат), так духом и останется до гробовой доски!

Между тем Тюпкин появлялся мрачный, как сама ночь, и в камере моей начиналась усиленная деятельность: выколачивалась пыль из моих вещей, перекаладывались с места на место, без всякой видимой нужды, мешки и ящики; по камере раздавался неумолкаемый топот сапог, сопровождаемый глубокими-глубокими вздохами.

– Что, Тюпкин, нездоровы вы, что ли? Молчание.

– Или, может быть, потеряли что? Может, проигрались?

– Не-е! – и вслед за этим ответом мой Тюпкин моментально исчезал, сконфуженный.

Вечером он опять остается в моей камере. Мы насытились вкусным кулешом, напились чаю; нам так приятно греться перед весело потрескивающими в догорающей печке угольями. Мой Тюпкин совсем разнежился. Ему хочется говорить, без конца говорить, без конца жаловаться на свою судьбу.

– Ах, горегорький я, горегорький! И зачем только мать на свет меня породила!

– А чем же вы особенно несчастнее других, Тюпкин? Другие идут в каторгу, а вас – самое большое – переведут в штрафованный разряд. Ну, накажут...

Тюпкин прислушивается к моим утешениям и молчит.

– Не так ли? – говорю я. – Ведь вы же добровольно заявили к начальству, вас не поймали? Это, конечно, примут во внимание. Вам дадут снисхождение.

Вместо ответа он вдруг начинает яростно таскать себя за волосы.

– Ох, горегорький я, горегорький!..

– Да вы, может быть, скрываете? Вы, может, бежали после какого-нибудь преступления?

Но тут Тюпкин начинает божиться и клясться, что заявился добровольно, а бежал со службы просто так, с тоски...

– С какой же тоски?

– Да с пьянства, с карт.

– Где же вы пропадали эти два года?

Он подробно рассказывает мне, как жил в Бичурской волости у семейских (раскольников), работал простую мужицкую работу, с одной вдовой жил душа в душу, как муж с женой, девочку от нее имел.

– Хорошо было жить! И-их, хорошо!..

– Так зачем же вы заявили? И жили бы так, пока было можно.

– Нельзя было.

– Да почему же нельзя?

– Так.

С большими усилиями, однако, удается мне добиться, что и тут причиной были вино и карты. Проигрался в пух и прах, тоска взяла: пошел и заявился.

– А жену известили?

– Зачем извещать!

Я засыпаю в эту ночь с уверенностью, что все-таки успел утешить бедного малого, успокоить насчет предстоящей ему судьбы. Но на следующий вечер, если опять нет денег и картежной игры и мы снова греемся и болтаем около печки, мой Тюпкин начинает прежнюю песню:

– Ох, бедный я, злосчастный! И на что только мать на свет меня породила?

Я наконец не выдерживаю и начинаю его ругать за бабью трусливость и плаксивость. Он защищается, и тут мне удается наконец выудить от моего Санчо-Пансо, что он, в сущности, и раньше побега был уже штрафованным.

– За что же?

– Денщиком был... Пьян напился, часы разбил офицеру, да нагрубил.

Вот оно что, но все-таки хныкать нечего. Не в каторгу же осудят нас.

– Да не миновать каторги, чует мое сердечушко, ох, чует!.. Кабы всё-то знали вы да ведали... Ох, злосчастная я сиротинушка!

– Что же все-то? Уж рассказывайте, коли начали. Что еще натворили? Уж не были ль вы в дисциплинарном батальоне? – спрашиваю я полушутя, полусерьезно.

Молчание. Тяжелый вздох. Я начинаю наконец догадываться.

– Так, значит, правда? Были?

– Ох, горегорький я! Непокрытая моя головушка!

– За что же? Что тогда вы сделали?

– Арестанта выпустил.

– За деньги?

– Пьяны оба напились... В баню его водил... Ну... Ступай, говорю, Иван, на все четыре стороны. А сам лег и заснул. Он и ушел.

– Сколько же вы пробыли в дисциплинарном?

– Три года. Нет, уж быть мне в каторге, быть! Чует моя душа... А то и еще хуже: убью кого-нибудь, ей-богу убью. Кровь всю они выпили из меня, кровопивцы!

– Сами во всем виноваты, Тюпкин, нечего людей винить. Возьмите себя в руки, перестаньте в карты играть, пьянствовать – вот и станете опять человеком.

Но Тюпкин уже ни слова не отвечает мне и угрюмо укладывается спать. Утром он просит у меня деньжонок и, если я даю, ближайшую ночь опять пропадает в общей арестантской палате.

Приближаясь к Чите, он заметно все больше и больше волновался и омрачался; порой мне казалось даже, что он замышляет бежать (конвой, знавший, что он добровольно заявился, не очень зорко следил за ним); но Тюпкин был тряпка-человек в полном смысле слова, и отваги на побег никогда бы у него не достало. Так и дошел он до Читы цел и невредим. Со мной он расстался довольно холодно, даже не простившись настоящим образом. Не те думы занимали его в эти минуты...

В большинстве случаев трудно узнать арестанта доподлинно во время дорожной жизни, где нет прочно установившихся условий, нет ничего постоянного, все быстро меняется и жизнь походит не то на какой-то вечный побег от невидимого врага, не то на бесконечно длящийся безобразный праздник. Тем труднее это для "барина", едущего на отдельной подводе и живущего в отдельном дворянском помещении. Даже и перед "своими" арестант не открывает в этих изменчивых и кошмарных условиях всего своего внутреннего мира; тем сдержанней будет он перед "барином", идущим хоть и в каторгу, но в привилегированном положении. Нужна очень тонкая наблюдательность, умение разбираться в мелких оттенках впечатлений и в самых

ничтожных фактах, чтобы различить в арестантских рассказах правду от лжи, напускной и показной характер от истинного.

Вот почему я не стану представлять читателю большого числа портретов и характеристик за этот дорожный период своей жизни в мире отверженных. Для этого у меня будет еще достаточно времени и поводов. Отмечу лишь несколько главных течений в характерах и физиономиях арестантов, насколько они выяснились мне в ту пору. К первому разряду относятся "тихонькие", большей частью старички, играющие роль неповинных жертв и выказывающие даже ненависть к своему же брату кобылке. В большинстве случаев это одни из самых антипатичных. Резонерство, черствое себялюбие, кулачество, лицемерное ханжество – вот главные черты этих людей. Черты эти нередко уживаются с неподкупной честностью (в казенном смысле этого слова), но от честности этой веет всегда каким-то бездушием, и сердечные ваши симпатии никогда не тяготеют к этим благочестивым резонерам-старцам. Другой тип – тоже пожилые уже, а иногда и совсем старые арестанты, не скрывающие того, что они мошенники и разбойники, но держащие себя с некоторым гонором и благородством: "То, мол, по вольной жизни я вор и разбойник, а в тюрьме, промеж своих, я честный человек, арестант старинной закалки". Эти тоже не прочь порезонировать, посетовать на падение старинных арестантских нравов и обычаев, побранить "новый род". Третьи, которых большинство, составляют душу и сердце шпанки: это – игроки, жиганы, сухарники, палачи, готовые превратиться в жертвы, и жертвы, могущие завтра же стать палачами; люди, которые как будто нарочно созданы природой для жизни в каторге и особенно в "путь следования". Вряд ли даже понимают они, что можно жить иной, лучшей жизнью, чем этот ад крошечный. Они находятся в вечном угаре и хмелю без вина, в вечной ажитации и заботе, хотя бы предмет заботы не стоил и выеденного яйца: им нужно главным образом само волнение. Это самый страстный и живой элемент каторги. Спросите: для чего день и ночь играет вот этот молодой светло-русый парень с испитым, бледным лицом и лихорадочно горящими серыми глазами, почти не умеющий играть и вечно получающий розги за промот казенных вещей, вечно голодающий и к тому же служащий предметом общих насмешек? Вглядитесь в его постоянно озабоченное лицо, в его словно тоскующие глаза – и вы получите ответ. Без карт или водки, а может быть... даже и без розог... без чего-нибудь пряного, возбуждающего жизнь будет не в жизнь этому раз свихнувшемуся с пути человеку! Из таких-то прожигателей жизни и выходят так называемые "сухарники" и "вечные тюремные жители".

Сухарником зовется малосрочный каторжанин или лишенец, соглашающийся за пустое вознаграждение, за несколько рублей, за красную рубаху (или, как в насмешку говорят арестанты, за сухари) поменяться именем и участью с долгосрочным или даже "вечником".

Не могу не упомянуть, между прочим, об особом виде сменки, значения которого я долго не мог уразуметь, но который имеет тем не менее глубокий и чрезвычайно остроумный смысл. Меняются именами бессрочный с бессрочным же. Какому-нибудь Белоносову удастся уйти вместо Долгошеина, на которого он очень мало походит лицом и приметам, а Долгошейей останется, положим, в больнице или до следующей партии. Само собой разумеется, что "ошибка" с течением времени обнаруживается и там и здесь. В одном месте начальство набрасывается на Белоносова, в другом на Долгошеина.

– А! Ты сухарник?

– Никак нет-с, – отвечают Белоносов и Долгошейей и, несмотря на явную нелепость своих слов, упорно продолжают утверждать, что они именно те самые личности, которые показаны в статейных списках, что осуждены на бессрочную каторгу. Конечно, случись это в одной и той же тюрьме, начальство тотчас же сумело бы разобраться в путанице; но предполагается, что сменщики успели уже разделиться приличным расстоянием и напасть на настоящий след не так-то легко. Местные начальства торжествуют: пойманы сухарники, продавшие себя за красную рубаху... Белоносова и Долгошеина судят (опять-таки предполагается, в различных пунк-

тах) и, как сменщиков, приговаривают на три года каторги каждого, с телесным наказанием. А им того только и нужно было... *Se non e vero, e ben trovato*,²¹ скажет, пожалуй, читатель; но пусть он вспомнит, что в старые и даже сравнительно еще недавние годы в тюремном мире делались дела и почище.

С появлением реформ, конечно, становятся все труднее и труднее подобные проделки.

Майданщиками зовутся арестанты-откупщики, которым артель продает монополию торговли в течение известного срока сахаром, чаем, табаком и прочей мелочью, а самое главное – содержание игорного, а иногда и еще более темного притона. Я был, например, свидетелем, как один майданщик вез с собою публичную женщину в качестве вольно следовавшей за ним невесты. Она ехала, конечно, отдельно от холостой партии, в которой шел "жених", следом за ним, но на тех этапах, где старшего удавалось подкупить или обмануть, разжалобив сказкой о предстоящей в скором времени любящей парочке разлуке, "невеста" впускалась на ночь в этап к своему мнимому жениху, и тогда можно представить себе, что там происходило.

Надо, впрочем, сказать, что майданы снимаются в редких только случаях прижимистыми кулаками, которые, обогатившись, зажили бы трезвым и благоразумным порядком (таким-то арестанты и не продали бы, пожалуй, майдана); обыкновенно это все те же игроки и жиганы, нуждающиеся в "поправке" единственно для того, чтобы в несколько дней спустить все нажитое на водку и карты.

В августе месяце я вступил в район Нерчинской каторги. Какая-то новая атмосфера давала себя чувствовать; порядки становились строже, обращение начальника конвоя грубее, настроение самих арестантов удрученное. Толковали о предстоящих в Нерчинске, Сретенске и Усть-Каре обысках. Говорили, что отберут все до последней нитки. Придумывались средства, куда запрятать лишнюю имеющуюся на руках копейку. Солдаты запугивали рассказами, как у одного старичка нашли запрятанными в сухаре сто рублей и как офицер, конфисковав эти деньги, роздал их конвою. Я, по своей тогдашней наивности, долго не понимал, зачем, несмотря на такие страхи, спутники мои все-таки намерены были прятать свои деньги. Почему бы, спрашивал я, не отдать еще до обыска начальству? Все равно ведь будут в сохранности, записаны в книгу, занумерованы и пр. Арестанты в ответ только почесывались или говорили что-нибудь вздорное, чему и сами, очевидно, плохо верили, вроде того, что начальство очень часто зажиливает деньги. Только в каторге, в тюрьме, понял я настоящим образом, почему арестант никогда не променяет нелегальные деньги на легальные. Он смотрит на них как на последнюю тень, своего рода символ, утраченной свободы. Помимо игры в карты и покупки водки, большинство каторжных из чисто платонических соображений не отдает начальству всех своих денег: хоть две копейки, да постарается затаить... "Пускай пропадут лучше, да знаю, что они – мои были". И так говорят и делают нередко самые добронравные и благонамеренные старички, в руки никогда не берущие карт! У одного из таких старичков отняли при обыске пустой грязный кисет и хотели бросить в печку. Тогда он с плачем объявил, что там есть три рубля.

– Где же? – удивился офицер, еще раз обшаривая кисет и выворачивая наизнанку. Оказалось, что бумажка была очень искусно, почти виртуозно завита в тонкую веревочку, служившую для завязывания кисета.

Подвигаясь вперед тем черепашьям шагом, каким обыкновенно ползут арестантские партии, мы достигли наконец того пункта Забайкальской дороги, откуда каторжных конвоируют не солдаты, а казаки. В последние годы, когда явились перспективы возможных осложнений на востоке, слышно – и казаков "подтянули"; но в то время, о котором идет речь, эта часть сибирского войска (а тем более конвойные команды) была лишена почти всякой воинской дисциплины, что сказывалось, разумеется, и в большей грубости нравов. Никогда не забуду одной тяжелой сцены, свидетелем которой, да отчасти и участником, мне довелось быть после при-

²¹ Если это и неправда, то все же хорошо придумано (*итал.*).

емки партии казаками. Нам дали очень мало подвод, а больных и слабых мы имели изрядное количество. В довершение несчастья конвой тоже расселся, по обыкновению, на подводах. Некоторым из больных арестантов пришлось идти поэтому пешком, и один из них с первых же шагов начал отставать и падать. Не в силах сносить такой "беспорядок", самый молодой из казаков сорвался внезапно с телеги, подбежал к упавшему арестанту и стал бить его прикладом по чему попало. Партия остановилась.

– За что ты lupишь его, Васька? – спросил своего подчиненного старший, ковыряя в носу и самым безмятежным видом сидя на возу с поклажей.

– Да чего ж он нейдет, как все? – завопил благим, матом Васька, рядовой казак без всяких нашивок, совсем еще мальчишка, без признаков растительности на довольно смазливом личике.

– Иван Егорович, – обратился он жалобно к уряднику, – надо хлопотать о подводах. Потому я ведь, ей-богу, прикончу его дорогой, коли он так идти будет!..

И, как бы в подтверждение своих слов, казак так принялся потчевать прикладом несчастного больного; что тот, поднявшись было на ноги, опять со стоном повалился на землю. Не довольствуясь этим, Васька стал еще топтать свою жертву ногами. Партия загалдела, запротестовала... Этого было достаточно, чтобы и сам старший, жирный, апатичный ко всему казачина, в первый момент стоявший даже, по-видимому, на стороне больного, внезапно встрепенулся и тоже накинулся на арестантов.

– Это что! Бунт?! – заревел он, бросаясь с ружьем и кулаками на тех, которые стояли впереди и казались ему зачинщиками. Тут пришлось наблюдать интересное явление. Те из арестантов, что представлялись мне наиболее отважными и решительными, сразу замолчали и попрятались за спины товарищей. Особенно поразил меня некто Левшин, старый бродяга-резонер, мужчина атлетического сложения, с поседевшей уже бородой и свирепыми серыми глазами, в которых читалась закаленная воля и дерзкая отвага. Вскоре после того он показал себя и действительно таким, совершив крайне смелый побег среди бела дня, на глазах у караульных, которым он засыпал глаза табаком... Но это случилось после, уже в каторге, а теперь он стоял, повесив голову, и упорно молчал.

– Что же вы молчите, Левшин? – шепнул я ему. – Так нельзя этого оставить. Мы недалеко еще отошли от места, там начальство. Надо вернуться, пожаловаться... Не беда, если и прикладов несколько влетит.

– Бросьте, барин, – зашептал мне, в свою очередь, старик, робко озираясь, – ничего не поделаешь... Самому себе надо жаловаться.

– Как это самому себе?

– Так. Запомнить, значит, надо. По вольной жизни, коли придется... А тут их сила!

Может быть, и правильно рассуждал Левшин, но тогда, помню, мне не понравились его речи, и я как-то сразу охладел к своему недавнему еще фавориту. Но чуть ли не больше поразил меня поляк Мацкевич, более известный среди кобылки под именем Кожевникова. Это был отчаянный враль и пустозвон, к рассказам которого о его прошлом, об этих бесчисленных похождениях чисто романтического характера невозможно было относиться серьезно. Не знаю, точно ли знал он в старину лучшую жизнь, но теперь, совершенно обрусевший и ошпаневший за двадцать лет хождения по Сибири и каторге, он был ярким представителем кобылки – сегодня жиганом, завтра майданщиком, сегодня артельным старостой, завтра кандидатом в сухарники. Арестанты недолюбливали Мацкевича, считая его пустым "боталом", а такие, как Левшин, даже и "язычником". Однако в описываемой стычке с казаками он обнаружил внезапно такую сторону характера, какой, признаюсь, я совсем не ожидал от него. Один из всей толпы он имел мужество подойти к уряднику и громко заявить ему, что "так, мол, не годится". В ответ на это заявление урядник размахнулся и со всего плеча ударил Мацкевича по лицу, так что у того брызнула кровь из носу... Мацкевич, однако, и тут не испугался.

– Что ж, – сказал он философически, обтирая полый халата окровавленное лицо, – бейте, ваша воля... А только так все-таки не годится – больного сапогами топтать.

Но урядник бить больше не стал; порыв энергии успел у него пройти и смениться вялым равнодушием ко всему на свете. "Казачишки" еще покричали, побегали, погрозили... Погрозили и мне прикладом, когда я тоже разинул было рот и стал "чирикать", но бить не решились... И наконец мы тронулись в путь, посадив все-таки больного на подводу. И, странное дело, эти же самые казаки, только что показавшие себя в таком зверском, возмутительном виде, потом, в дальнейшем пути, оказались добродушнейшими и милейшими малыми! Через каких-нибудь два часа времени они успели сойтись и почти сдружиться со всей партией; начались общие песни, разговоры, шуточки... А тот самый Васька, который топтал ногами больного арестанта и грозился его прикончить, очень мило со мной беседовал, обо многом расспрашивая, интересуясь разными научными открытиями, тем, как люди хорошо и умно в других странах живут, и искренно негодуя на многие из существующих у нас порядков. Когда же я напомнил ему о недавней сцене с больным и об его несправедливости, он сконфуженно лохматил себе волосы и говорил:

– Горячий я человек!..

Шпанка же и подавно, обо всем забыла, как будто ничего не случилось такого, что не было бы в порядке вещей. Сам Мацкевич-Кожевников весело заговаривал со старшим и, по крайней мере наружно, нимало не злобствовал.^[12]

Заканчивая свои воспоминания о дороге, скажу прямо, что если бы был у меня какой-нибудь заклятый враг и я непременно должен бы был осудить его на величайшую, по моему мнению, кару, то я избрал бы путешествие в течение трех-четырёх лет по этапам. Осудить на больший срок у меня, право, не хватило бы духу... Да! для интеллигентного человека нельзя придумать высшего на земле наказания... Описывая невзгоды и кошмары этапного пути, я забыл подчеркнуть одно еще обстоятельство, которое, быть может, и составляет главный его ужас и пытку: это – необходимость покинуть место, на котором вы только что расположились, обогрелись и намеревались отдохнуть; необходимость куда-то и зачем-то тащиться по грязи и холоду для того только, чтобы вскоре опять свить столь же недолговечное гнездо и опять разрушить его своими же руками Ничего прочного, постоянного, отрадного в этом бессмысленном, черепашьем передвижении с места па место... И, как над вечным жидом,^[13] слышится над вами каждую минуту властный голос, которому нельзя противиться: "Иди! Иди!" Все это в душе человека с мирными наклонностями способно создавать уносное, близкое к отчаянию настроение...

Вот наконец и последний этап оставили мы за собою. Впереди настоящая, подлинная каторга, тот неведомый мир, который поглощает в себя тысячи людей, тысячи душ, редко возвращая их свету живыми...

Но когда оглянулся я на последний этап, на это неуклюжее строение, одиноко торчавшее в открытом поле, длинное, сырое, угрюмое, безучастно видевшее столько поколений людей, изувеченных, безумных людей, столько напрасных мук, слез и смертей, – я невольно содрогнулся.

Шелаевский рудник^[14]

– Здравствуй, забытый рудник!
– Там, где вчера привиденья бродили,
Нетопыри боязливые жили,
Горя и злобы не слышался крик,
– Вновь замигала свеча трудовая.
Снова гранитное сердце горы
Гложут, как черви, стальные буры,
Молот сурово звучит, не смолкая,
Лязгают звенья тяжелых цепей,...
Кто здесь томился в минувшие годы?
Вы ли, святые страдалцы свободы,
Темные ль жертвы нужды и страстей?
Крест был один – и, собрат по мученьям,
Вас я одною семьей признаю:
Братский привет одинаково шлю
Вашим бездомным замученным теням!
Нет, не бесследно в могиле живой
Вы, надрываясь, мозолили руки:
Вас уже нет, но живут ваши муки,
Тайно витают вокруг надо мной...
– Бедные призраки, скорбные тени,
Вам я великую клятву даю
– Вылить в заветную песню мою
Все ваши слезы, и вздохи, и пени.

П. Я.^[15]

1. Встреча

В Нерчинском каторжном районе сосредоточивается около десяти рудников, где арестанты отбывают сроки своего наказания. Несколько тюрем помещается на Каре – там моют золото. Кара издавна пользуется среди арестантов славою наиболее тяжких работ; имя "варвара" Разгильдеева до сих пор гремит по всему Забайкалью, и хотя в последнее время карийские каторжные тюрьмы превратились в простые места высидочного заключения, где не только не моют золота, но и вообще никаких работ не производят, однако и теперь еще имя "карийца" окружено значительным ореолом. Начинают, впрочем, прорываться и иронические нотки в отношениях к тем, кто побывал на Каре.

– Он много, братцы, горя видал! Он на Каре был! – говорят про кого-нибудь и раздражаются гомерическим хохотом.²²

В Алгачинском, Зерентуйском, Кадаинском, Покровском, Мальцевском и Акагуйском рудниках достают серебряную руду; в Кутомаре плавят добытую руду и выделяют из нее серебро. Последняя работа самая тяжелая и нездоровая. Некоторые из перечисленных рудников близки к истощению и требуют очень мало рабочих рук. В других, напротив, почти каждый год открываются новые рудоносные жилы; туда направляется наибольшее количество арестантов и там строятся огромные тюрьмы, могущие вмещать по тысяче человек. Назначение арестанта в тот или другой пункт зависит всецело от случая. Меня назначили на Шелай, в новенькую, только что отстроенную тюрьму, где могло поместиться не больше ста пятидесяти человек. Рудник, к которому она принадлежала, долгое время заброшенный, теперь только что возобновляли. Доходов от него в течение многих и многих лет нельзя было ожидать, так как требовались огромные предварительные работы для осушения старых шахт и выработок; устраивая эту маленькую тюрьму, начальство имело в виду главным образом произвести опыт образцовой каторжной тюрьмы, наподобие заграничных. В последние годы, слышно, во всей Нерчинской каторге заведены те же порядки, какие были при мне в Шелаевской или, как говорили в просторечии, в Шелайской тюрьме; но в то время, когда их только что заводили, они являлись для арестантов страшилищем, как что-то новое, никому еще не ведомое.

– Куда назначены? На Шелай? – спросил меня в Сретенске седенький старичок слесарь, шедший на поселение.

– Ну, молитесь богу! Там для вас могила!

– А что такое? Разве вы слышали что?

– Я там был этим летом на постройке.

Около слесаря собрался кружок таких же несчастливцев, как я, назначенных на Шелай.

– Ограда каменная, высокая, – рассказывал слесарь, – двойной караул, снутри и снаружи, камеры всегда будут на замке, день и ночь. Выпускать только на работу будут, на поверку да на прогулку, и все солдатским строем; шагом марш!.. Ширинками, значит. Обедать, спать, работать – на все звонок. Смотритель назначен из военных, штабс-капитан Лучезаров. Ну, словом, поддержишь, братцы!.. Карт али там водочки-матушки- и в помине не будет!

– Полно врать, старый хрен! Чтобы наш брат, арестант, не примудрился к самому сатане в пекло водку и карты пронести? Быка с рогами протащу! – остановил его высокий молодцеватый арестант с длинными, ухарски закрученными усами и надменным взглядом. Слесарь, с своей стороны, презрительно оглядел его с головы до ног.

²² В июне 1893 года уничтожена на Каре последняя тюрьма; в Карийском районе нет больше ни одного арестанта. Золотые прииски отданы в частные руки. (Прим. автора.)

– Увидишь! – сказал он и, отвернувшись, направился прочь. – Вот одно что хорошо, ребята, – не утерпев, остановился он и заговорил снова, – парашек у вас не будет. Это точно. При каждой камере особая дверь в ретирадное место.

Утешение это мало, однако, подействовало на меня и моих товарищей по несчастью. У каждого невольно ныло сердце в ожидании неизвестного будущего.

В прекрасный сентябрьский день, к полудню, прибыли мы на речку Шелай, на берегу которой стояла новешенькая тюрьма с белой как снег каменной стеною вокруг и целым рядом теснившихся поблизости строений для служащих и казарм для казаков. Тюрьма находилась в трех верстах от деревни, в глубокой и мрачной котловине, со всех сторон огражденной начавшими голеть сопками, поросшими березой и лиственницей. Несмотря на яркий солнечный день и живописный (говоря беспристрастно) ландшафт, последний произвел на партию удручающее впечатление.

– Вот так Шелай, дьявол его валяй! – слышалось повсюду. – Ишь, братцы, в щель какую нас загоняют, ровно мышей!

– А вон и кот тут как тут, на помине легок, – сострил кто-то, увидав статную фигуру с тростью в руке, стоявшую у ворот тюрьмы. Я разглядел офицерскую форму и догадался, что это и был штабс-капитан Лучезаров.^[16] Длинные рыжие усы на бритом красном лице были уставлены прямо на нас и не предвещали ничего доброго.

– Смир-р-но!! Шапки до-л-лой!! – крикнул бог весть откуда взявшийся надзиратель. Команда эта была так неожиданна, что непривычная к ней утомленная шпанка растерялась и далеко не скоро и не единодушно сняла шапки.

– Эт-то что?! – загремел штабс-капитан, стуча тростью о землю. – Не слушаться команды?

– Виноваты, ваше благородие, – проговорил кто-то из арестантов, – по неопытности, ей-богу по неопытности.

– Заморилась, вишь ты, кобылка, – подтвердил другой.

– Молчать!!

Все стихло. Ни одни кандалы не звякнули, ни один вздох не раздавался. Все держали в руках шапки. Даже конвой стоял, как-то особенно прямо вытянувшись.

– Шапки надеть! – сказал начальник смягченным голосом.

– На-кройсь! – скомандовал надзиратель. Все, точно осовелые, поспешно накрылись.

– Вот что! – заговорил Лучезаров, подступая к нам ближе и все также тяжело опираясь на свою костяную трость с медным набалдашником. Голос его звучал теперь тихо, как бы утомленно, но на пространстве ста сажен слышен был бы полет мухи – так было тихо кругом. – Вот что! Слушайте внимательно. Вы вступаете в ворота тюрьмы, в которой до вас ни одного арестанта не было, тюрьмы, в которой действуют особые правила. Да, особые правила! (Голос начал повышаться.) Многие из вас, быть может, не в первый уже раз попадают в каторгу, не в первую тюрьму входят. Они вспоминают, пожалуй, пословицу, что новая метла всегда чище метет, но не надолго ее хватает: только первые, мол, дни будет здесь строго, а потом все пойдет тем же порядком, как и везде, явятся и карты с водкой, и майданы, и иваны и даже сухарники. Выбросьте из головы эти глупости. Я буду непопустительно строг и никогда не устану исполнять данные мне свыше инструкции. Буду справедлив, но строг. Больше строг, чем справедлив! Помните, ни на минуту не забывайте того, что вы каторжные, лишены всех прав, в том числе и права на доверие. Знайте, что одному надзирателю я поверю скорее, чем семистам арестантам. За праздность, леность, грубость, ослушание, за малейший проступок буду карать. Скажу вам прямо: я не большой поклонник плетей и розог, так как хорошо знаю, что для таких артистов, как вы, они нипочем. Нет, я буду бить вас по более чувствительным местам. Кроме сурового содержания в карцере, на хлебе и воде, в кандалах и наручниках, даже на цепи, если понадобится, я буду лишать виновных скидок и отдавать под суд. Не думайте также о побегах.

Из Шелайской тюрьмы не убежите! Я буду зорко следить и за малейшую попытку к побегу наказывать без пощады. Вот, я все вам сказал, что нужно для первого знакомства. Готовьтесь к приемке. Долой с себя все вещи, долой и кандалы – я знаю, что они все равно снимаются. Не нужно мне комедий. Раздевайтесь, погода теплая, простудиться нельзя.

Вся партия, дрожа с головы до ног ("такого холоду нагнал", – говорили после), безмолвно начала раздеваться, в том числе и я. Поодиночке, совершенно голых, надзиратели вводили арестантов в дежурную комнату у тюремных ворот, тщательно ощупывали, заглядывая по всем подозрительным закоулкам тела, отбирали собственные вещи, оставляя только табак и трубки, вручали все новое, что полагалось из казенных вещей: две пары рубах и портов, бродни, онучи, куртку, штаны, халат, рукавицы и шапку, а потом сдавали каждого на руки двум цирюльникам, которые тут же подбрасывали правую половину головы. Прodelав всю эту процедуру, арестантов, еще надевавших по дороге штаны или куртку, так же поодиночке впускали во двор тюрьмы, где велено было построиться в две шеренги. Когда все наконец построились, ворота торжественно распахнулись, и в них опять появился штабс-капитан с бумагой в руках и с целой свитой надзирателей по бокам. Опять послышалась команда: "Смирно! Шапки долой!"

– Здорово, братцы! – снисходительно проговорил Лучезаров, торжественно-замедленными шагами подходя к строю арестантов.

– Здр-равия желаем, господин начальник! – гаркнули во всю глотку братцы.

– Шапки надеть, – сказал начальник.

– На-кройсь!! – прокричал надзиратель и кинулся затем пересчитывать арестантов. Число оказалось то самое, какое было нужно. Лучезаров после этого обратился к нам с новой речью, на этот раз носившей шутивно-добродушный отеческий характер.

– Мы давно вас поджидали и все приготовили для дорогих гостей. Теперь сходите в баню и почище вымойтесь. Чтоб ни одной вши я ни на ком не видал, чтоб не видал и ни одного голодного! Да, у меня все будете сыты. Арестантская артель признается законом, поэтому и я ее признаю. Выберите же себе общего старосту, четырех парашников, двух поваров и двух хлебопек. Что же касается камерных старост и больничных, служителей, то я сам их назначу. Три дня даю вам для отдыха, а затем милости просим на работу. Да вот что еще. В тюрьме девять камер, и каждый из вас должен жить в той, в которую назначен. Слушайте, я прочту список.

И он прочел список, по которому в каждую камеру было назначено около двадцати человек. Я попал в № 4, и сожителями моими были все люди, знакомые мне лишь по фамилиям.

– Надзиратели, командуйте теперь на молитву. – Смирно! На молитву – шапки долой! Пропели три обычных молитвы: "Царю небесный", "Отче наш" и "Спаси, господи, люди твоя".

– На-кройсь!

– Командуйте расходиться по камерам.

Два надзирателя стали по обеим сторонам строя, третий в центре и все трое закричали почти одновременно:

– Первый, второй и третий номер, на-пра-во! – Четвертый, пятый, шестой номер, на-пра-во! Седьмой, восьмой и девятый номер, налево! – Первый, второй и третий номер, в левые двери шагом ма-арш! – Четвертый, пятый и шестой номера, в средние двери шагом марш! – Седьмой, восьмой и девятый, в правые двери шагом марш!

В головах арестантов образовалась невообразимая каша: кто повернулся направо, кто налево, кто никуда не повернулся и стоял на месте, тараща глаза, а кто и просто бегом побежал к первым попавшимся дверям, как это принято на этапах. Увидав первых бегущих, и вся шпанка поддалась заразительному примеру: все бросились очертя голову куда попало...

Преследуемая криками надзирателей, кобылка неслась как угорелая, и скоро на дворе никого не осталось, кроме начальника. Надзиратели скрылись в погоне за беглецами. Однако через пять только минут удалось снова собрать всех и выгнать на двор.

– Я делаю прежде всего выговор надзирателям, – громко заговорил Лучезаров, – следовало сообразить, что список, распределяющий арестантов по камерам, только что был им прочитан, когда они стояли уже в строю, и потому нелепо было, командуя – расходиться, упоминать номера.

Надзиратели стояли переконфуженные.

– Теперь постройте арестантов отдельными взводами, по номерам. Каждый из них должен помнить, кто куда назначен.

Надзиратели кинулись исполнять приказание, причем опять не обошлось без путаницы: чуть не половина арестантов, особенно из татар, оказалось, не знала своих номеров. Надзиратели совали их наобум, куда попало, лишь бы проявить перед начальником свою расторопность.

– Заморились, ваше благородие, дайте покой... В баньку надуть сходить, – не вытерпев, громко произнес один толстенький арестант с седоватой бородкой.

– Кто говорит?! – заорал громовым голосом штабс-капитан. – Отведите его в карцер на трое суток, на хлеб и на воду!

Два надзирателя немедленно повели злосчастного выскочку в карцер.

– Если не будете точь-в-точь исполнять команду, до полночи проморю здесь. Не получите и бани.

После такой угрозы все уже обошлось благополучно, команда была выполнена пунктуально.

– Ну и шестиглазый. Истинно шестиглазый! – бормотали арестанты, расходясь по камерам и сообщая друг другу свои впечатления. – Самый, что ни есть, поразительный глаз. Прямо наскрозь нашего брата видит! – Все остались, впрочем, очень довольны тем, что попало и надзирателям.

– Этот никому, брат, спуску не даст: молодец!

С этих пор за Лучезаровым так и укоренилось среди арестантов прозвище Шестиглазого.^{23{48}}

²³ Автору напоминали о подобном же прозвище тюремного смотрителя в "Записках" Достоевского, но ему кажется, что эта мелкая подробность доказывает только живучесть преданий, нравов и даже острот описываемой среды, и потому он сохраняет ее, не опасаясь упреков в подражании великому художнику.^{48} (Прим. автора.)

^{48} В письме к Н. К. Михайловскому от 12 октября 1895 г. Якубович писал: "Когда писались "Отверженные", у меня не было под рукой "Записок из мертвого дома", и читал я их за десять лет перед тем. Каково же было мое изумление и досада, когда я узнал впоследствии... что, точно на грех, плац-майор Достоевского тоже носил очки и тоже был прозван "восьмиглазым"... Не всякий даже поверит, что это простая случайность, данная самой жизнью. Очки я давно уже просил везде выкинуть..."

II Первый вечер

Наконец-то я спокойно лежу на голых нарах после дня, полного стольких треволнений. Из сожителей моих кто еще разговаривает, покуривая трубку, а кто и храпит уже; сходили в баньку, попарились, потом напились казенных чайных помоев с хлебушком – и довольны: О завтрашнем дне стараются не думать. Этим-то свойством и держится темный человек, особенно арестант. Не обладай он счастливой способностью не заглядывать в будущее-жизнь стала бы невоготу. Впрочем, видно, что холоду нагнал Шестиглазый большого: разговаривают полупшепотом, ходят, в случае надобности, на носках. Да и надзиратели изо всех сил стараются поддержать этот страх: ежеминутно бегают, стуча ключами, по коридору, заглядывают в дверные форточки. В одной из камер попытались было запеть ("Надо быть, молодые ребята!"); мы слышали, как тотчас же кинулось туда несколько пар ног, как раздались грозные оклики – и мгновенно все стихло.

– Ну и Шелай! – сокрушенно вздыхает мой сосед Чирок, арестант лет под сорок, с испитым бледным лицом, но могучего сложения и крепкого еще здоровья. Он сидит на нарах, потурецки сложив ноги, посасывает папироску и поминутно сплевывает на пол.

– Тут издохнешь, в этой тюрьме, при такой строгости, – поддерживает его красавец бондарь Малахов, брюнет с великолепной курчавой бородой и маленькими синими глазками. Я вглядываюсь в Малахова: это тоже атлет, в плечах, пожалуй, пошире самого Чирка. Поступь у него уверенная и правильная; движения исполнены достоинства.

– Хм! – фыркает он. – Подстилки – и те отобрали, на голых нарах изволь спать.

– Завтра обещали казенные тюфяки выдать.

Малахов сам слышал это, но он раздражен и никакими обещаниями удовлетвориться не склонен.

– Хм! – продолжает он. – Образцовая тюрьма... Да где ж справедливость? Почему одного в Алгачи посылают, в Покровское или в Александровский централ, где он каторгу шутя отбудет во сне да в еде, а другого в образцовую тюрьму законопатят, где всячески будут стяжать его, мучить?

– Это не Шелайский, а прямо шальной рудник! – сентенциозно заявляет кузнец Водянин, больше известный под прозвищем Железного Кота. Это маленький невзрачный человек, не первой уже молодости, но бойкий и острый на язык. В хорошем расположении духа он постоянно говорит созвучиями и рифмами.

– У меня иголку отобрали, – заявляет Чирок жалобным голосом.

Для Малахова это то же, что масло на огонь. Он еще пуще начинает сердиться.

– Как же, братец, не отобрать? Еще зарезаться можешь... Начальство заботится о нашем брате... Эхма! А все, знаешь, кто виноват?

– Кто?

– Дохтура! Они самые. Все под предлогом, будто здоровье арестантов чистоты и 'порядка' требует. А сами нороят, как бы больше сюда зацапать, в мошну, да как бы из нашего брата получше кровь высосать!²⁴

²⁴ По поводу враждебного, почти ненавистного отношения арестантов к врачам, о котором не раз упоминается в настоящих очерках, считаю нелишним оговориться, что известная доля этого наблюдения, быть может, должна быть приписана и чисто местным, случайным причинам, вроде личного характера врачебного персонала в некоторых тюрьмах описываемого времени. Мне самому, например, прекрасно известно, какой теплой и единоклюшной любовью пользовался в 80-х годах старший врач красноярского тюремного замка, покойный ныне Мажаров, "Отец родной", "заступник" – иначе его и не звали. Даже наиболее озлобленные из арестантов с удивительной нежностью рассказывали многочисленные анекдоты, ходившие по тюремному миру, об этом необыкновенно добром и мягком человеке, по-видимому глубоко понимавшем и любившем несчастных питомцев каторги, несмотря на то, что был он уже не молод, в больших чинах и, конечно, немало видел на своем веку всяких художеств кобылки... Но за всем тем мне думается, что неприязнь к медицине и ее представителям, по-видимому, вообще

– Верно! – поддерживает бондаря Железный Кот. – Эти дохтура хуже нам, чем мошкара. Та тебя просто заест, а эти снимут и крест!

Чирок тоже находит нужным ополчиться против докторов и идет дальше.

– Будь я теперь на воле, – говорит он таинственно, – да попадись мне в тайге али где на степу дохтур, я бы из него жилы вымотал.

С нар поднимается еще одна фигура, лица которой в вечернем полумраке я не могу различить. Она поминутно кашляет и хватается рукой за грудь.

– Нет, я бы, – сипит она, – я бы знал, что с ним сделать! Я бы его раздел донага, посадил в муравейник, привязал бы к дереву и оставил так.

– А я бы, – восклицает новая личность, Яшка Перванов, – я бы чинов и звания его решил!

Замечание это вызывает всеобщую веселость и одобрение. Один только я не понял в то время соли этого циничного предложения... Вообще в этот вечер я впервые находился в такой тесной близости с арестантами. До сих пор я жил на этапах в отдельном помещении, в одиночестве или в обществе подобных мне интеллигентов; но теперь, совершенно отрезанный от всякого иного, высшего мира и сам подвергнутый полной нивелировке с этими отверженцами человеческого общества, теперь я поневоле должен был стать в другие отношения с ними, сделаться для них братом, товарищем.

С первых дней каторги я готовился к этому; однако, до сих пор благоприятные обстоятельства отдаляли решительную минуту, и сам я, понятно, не шел навстречу печальной необходимости. Сегодня, впервые испив горькую чашу настоящего каторжника, впервые почувствовав себя приниженным и заушенным, я с большим, чем прежде, любопытством приглядывался к своим собратьям по несчастью. Раньше я тоже приглядывался, но скорее как турист, барин, посторонний наблюдатель; теперь я искал в душе этих людей, лежавших бок о бок со мною, почти прикасаясь ко мне телами, того же настроения и тех же ощущений, какие находил в себе. Разделенное горе ведь легче переносится, чем переживаемое в одиночку... Вот почему из своего уголка я с жадностью прислушивался к их разговорам и с жадностью ловил каждое слово, которое находило бы отклик в моем сердце. Мысль, что я не один, что подле меня живут и движутся так же мыслящие, чувствующие и страдающие существа, так же близко принимающие к сердцу обиды, и те же самые обиды, какие и я, – надежда встретить здесь таких людей согревала и утешала меня.

Разговор продолжался. Малахов вспоминал жизнь в Покровском руднике.

– Вот жизнь так жизнь! На воле иной так не живет! Никаких этих строгостей и инструкций не было и в помине, а кому от того хуже было? Кто когда оскорбил смотрителя или надзирателя? Сама кобылка блюла за порядком, потому – понимали. И когда приезжала какая ревизия или там кто, все находилось на своем месте: карты, водку, ножи, деньги так припрятывали, что, случалось, и сам хозяин потом не отыщет. Ей-богу! Просто как братья родные жили с надзирателями. Они с нами тут же и чай пили и водочку и штос, случалось, закладывали. Вот, ей-богу, не вру! Смотритель был Шолсеин²⁵ по фамилии, мы его чухной все звали.

Надо быть, из немцев, хотя по-русски хорошо говорил; присюсюкивал только малость – язык ровно недоклепан был. Чухна – тот, бывало, ни во что не вязался, даже и в казарму к нам редко, бывало, заглядывал. А если и придет когда на поверку, так смех один. Этих разных команд или там строев в помине не было. Зайдет в камеру. "Ну ты, дитю (всех "дитю" называл)!.. Лежи, лежи, дитю, я не слепой ведь, и так вижу. А ты там под нарами, дитю, ты ножкой только подрыгай, чтоб я видел, живой ли ты... Ну что? Все? Лишних тоже нет? За ночь никто не ожеребился?" Кобылка: "Ха-ха-ха!" – и он тоже смеется, заливаясь... Вот это я понимаю!

коренится в нашем темном народе – достаточно вспомнить о недавних холерных бунтах. В виденных мною тюрьмах бывали, конечно, и хорошие врачи, фельдшера, а принципиально их все-таки ругали и не любили. (Прим. автора.)

²⁵ Сольштейн. (Прим. автора.)

Это значит – человеческое отношение! Ну, случилось, конечно, и выпет иному, не без того. Так за дело ведь, а не так, чтобы что! Не за шапку, что не вовремя снял аль надел. Раз пришел, помню, с обыском. "Ну что, дети, ножи есть? Мне покажите только – не отберу. Лишь бы не скрывали, да не очень чтоб большие были". Мы все, у, кого были, показали. У меня чуть не в поларшина длиной был – и то отговорился: я, мол, ваше благородие, мастеровой-бондарь, мне нельзя с маленьким обойтись. "Только не порежься, говорит, дитю... Что ж, ни у кого больше нет? Староста, нет больше в камере ножей?" Васька Косой подлетает: "Нет, говорит, ваше благородие". – "Ручаешься?" – "Ручаюсь". – "Собственной кожей ручаешься?" – "Вполне, говорит". Чухна привстал, протянул руку к полочке (ровно будто знал!), пошарил – и цоп! Достает ножик чуть ли еще не моего больше... "Это, говорит, как же, дитю? Разложите-ка его, каналью, всыпьте ему, мерзавцу, пятьдесят горячих, чтоб вперед не ручался!" Разложили мы тут же Косого и всыпали... Я сам ему хороших штук пять влепил! Потому – за дело собачьему сыну!

– Вестимо, – подтвердили слушатели, – не ручайся в другой раз... Не мог он разве сказать: "Как, мол, могу я, ваше благородие, за всю камеру заручиться? Ищите, мол, сами..." Ничего б ему тогда и не было!

Все решили после этого единогласно, что жизнь в других рудниках не жизнь, а рай, просто умирать не надо (впоследствии я слышал, однако, от этих же самых людей и другого рода отзывы). Опять принялись ругать Шелайскую образцовую тюрьму.

– Да что он возьмет, что он возьмет с нас? – завопи, вдруг, точно кому возражая, смиренный обыкновенно Чирок. – Лень мне, что ли, шапку-то лишний раз снять или повернуться, куда он велит? Поиняю я, что ли, с этого? Да я готов ему весь день в пояс кланяться- отвязись только, сатана!.. Как я был арестант, так им и останусь. И ничего он с меня не возьмет!

– Что за шум? Чего горланите? – раздался вдруг оклик надзирателя у дверного оконца. – Не слышали разве – барабан зорю пробил? В девять часов по инструкции полагается спать ложиться.

Чирок испуганно нырнул под свой халат. Вся камера более или менее поспешно последовала его примеру. Один Малахов остался сидеть на нарах и на вид равнодушно выколачивал золу из своей трубки.

– Ты, большая голова, чего сидишь? Сказано – ложиться! – крикнул на него надзиратель.

– А если сна нет, кто укажет мне ложиться? – спросил он деланно спокойным голосом, в котором слышалось, однако, волнение.

– Не разговаривать, ложиться!

– Говорю, сна нет. Ежели бы я шумел – тогда другое дело, а что я не сплю, так на это бог, а не инструкция.

– А! ты говорить мастер? Ну ладно, завтра потолкуем. – И надзиратель отошел прочь.

Все затихло в камере. Кое-кто пытался выразить Малахову сочувствие, ворча из-под халата, но сам Малахов хранил злобное молчание. Он посидел еще минут пять, все продолжая выколачивать золу из трубки, в которой давно уже ничего не было, и тоже наконец лег, тяжело вздыхая. Вскоре после того надзиратель опять подошел к двери, но, увидав, что все идет теперь согласно инструкции, что арестанты лежат, а камера, слабо озаренная керосиновой лампой, погружена в мертвое безмолвие, удалился.

Скоро я услышал, что все захрапели, не исключая и красавца бондаря. Но мне долго еще не спалось. Я думал... думал о том, куда попал и что меня ждет впереди; но больше всего мучила меня мысль об одиночестве среди этой массы людей, об исключительности моего положения. Уже одного сегодняшнего вечера и только что слышанных разговоров было достаточно, чтобы понять, какая громадная разница существовала во взглядах на жизнь и на человеческое достоинство между ними и мною, образованным человеком. Невольно приходил в голову вопрос: где легче жилось бы и чувствовалось мне – в Покровском, под отеческой ферулой столь прославляемого ими "чухны Шолсеина", который приглашал бы меня "подрыгать нож-

кой" и осведомлялся бы о том, "не ожеребился ли" я за ночь, или же здесь, во власти Шестиглазого, у которого все идет "согласно инструкции", формалистически-строго и бездушно-машинально?.. Смогу ли я, кроме того, понять и полюбить своих сожителей? Может ли кто из них посочувствовать мне? Какие в конце концов отношения у нас установятся? Мне представлялось ясным как божий день, что если я и не приобрету их ненависти, то все-таки буду жить и чувствовать себя бесконечно одиноким, что буду нести, сравнительно с ними двойную, тысячекратную каторгу.

Сон не шел. Душа болела и протестовала против чего-то. Против чего? Я и сам не отдавал себе в этом отчета. И в первый раз после многих лет уста невольно шептали молитву: "Боже, милостивый боже! Дай мне силу и мужество без страха глядеть в лицо ожидающей меня доли; дай силу все вынести и дожидаться вожденного дня свободы!"

III. Впечатления и знакомства первого дня

"Что за странный шум? Что за крики? Уж не потоп ли, не пожар ли?" – думаю я во сне, но пробудиться нет сил; глаза не в состоянии разомкнуться – так слиплись. Но вот кто-то с сердцем сдергивает с меня халат, и я вскакиваю: передо мной усатое лицо надзирателя.

– Вставай на поверку! Чего нежишься, ровно дворянин какой!

– Да он дворянин и есть, – хихикает кто-то из арестантов.

– Может, и был, а теперь все каторжные. Вишь, разоспались, черти! Звонка не слышали, свистка не слышали. Правила висят на стене, надо прочитать было. Дворяне есть, а грамотных нет, что ли? По свистку обязаны немедленно вставать, умываться и облокачаться, а как только отворят дверь, выходить на двор и строиться. Ну, вылазьте!

Заспанная шпанка торопилась умыться. Все толпились в отхожем месте, где с помощью одного лишь глотка воды, каждый ухитрялся умыться себе и лицо и руки над парашей. Это происходило вовсе не ради экономии воды и не потому, что опоздали и торопились: нет, таков обычай арестантов – вкуса к размываниям у них нет. Вместо полотенец утирались той же рубашкой, которая была на теле. Вот наконец натянули на себя халаты, нахлобучили шапки и, выйдя на двор, построились в две шеренги. На дворе почти совсем темно еще – шестой час в начале. Время близится к октябрю, и в утреннем воздухе чувствуется изрядная свежесть; к тому же у всех бритые головы. Я невольно думаю о том, что утренняя поверка на дворе скверная вещь... Проходят верных десять минут, пока с помощью криков и угроз надзирателям удастся вывонуть наконец из камер всех арестантов. Тогда только начали нас пересчитывать. Но в арифметике дежурный надзиратель был, видимо, слаб, потому что два раза понадобилось ему обойти ряды, чтобы смекнуть, сколько он насчитал. К насчитанному числу, с помощью других надзирателей, в течение добрых пяти минут прикладывал он кухонную прислугу и арестантов, положенных в больницу. Вышел спор. Решили, что одного все-таки не хватает. Еще раз пересчитали нас. Вышло столько же, сколько и прежде. Тогда двое надзирателей бросились как угорелые в камеры, и вот несколько минут спустя, с бранью и подталкиваниями в шею, пригнали оттуда какого-то заспанного и ковылявшего с ноги на ногу старичонку. Скомандовали на молитву, пропели что следует. Думали, что затем уже немедленно позволят разойтись, но один из надзирателей объявил громогласно следующее:

– За спор с надзирателем начальник приказал посадить Парамона Малахова в карец на одни сутки и объявить арестантам, чтобы они не иначе обращались к надзирателям, как со словами "господин надзиратель".

Малахова повели тотчас же в карцер.

– Направо и налево! Шагом марш!

Мы вернулись в камеры и там сейчас же опять были заперты на замок. Одних только камерных старост выпустили в кухню за чаем. Принесли ведро такого же жидкого, как вчера, кирпичного чаю и стали пить. Так как свои чашки имелись не у всех, а казенных еще не выдали, то по несколько человек пили из одной, а кто и просто ложкой хлебал из ведра. Принесли и хлеба. На каждого приходился паек в 2 1/2 фунта (в рабочие дни 3 фунта); нашлись такие едоки, что сразу же и прикончили свои порции. Я сам так был голоден, что съел с чаем добрую половину пайка. Начали опять ругать Шелайскую тюрьму.

– Ну и тюрьма! Счастлив тот человек, кому срок невелик. Тут замрешь.

– В канцере сгноять.

– Да и без карцера пропадешь. Ты как жил на Покровском-то? Там у тебя завсегда табачок был, и молочка и мяса прикупывал. А здесь ты на какие же купила купишь?

Я решил полюбопытствовать, откуда же в Покровском брались у арестантов деньги.

Высокий, богатырского сложения старик с рыжевато-седыми бакенбардами, Гончаров по фамилии, видимо, был обрадован тем, что я нарушил молчание, которое упорно до тех пор хранил, и оживленно начал объяснять мне:

– Вот видите ли, в чем дело, – начал он...

Но тут я должен сделать прежде небольшое примечание. Почти все арестанты, с которыми мне приходилось сталкиваться в дороге, за исключением самых разве мужиковатых и простодушных, обращались со мною на вы. С прибытием в Шелайскую тюрьму я имел в виду начать совершенно новую жизнь, вполне слиться с арестантской средой, потонуть в ней; но эти мечты с первых же дней как-то сами собою разбились. Несмотря на то, что из пришедших со мной в тюрьму не было почти никого, кто сопутствовал бы мне в дороге до Сретенска, и что в самое последнее время я никакими видимыми привилегиями не пользовался, я как был, так и остался в глазах всех "барином". Сначала я недоумевал, стараясь объяснить себе это странное и неприятное для меня явление пословицею "слухом земля полнится", но вскоре понял, что главная причина лежала все-таки во мне самом. Во-первых, сам я каждому арестанту говорил "вы", как бы низко ни стоял он в глазах самих его товарищей. У многих арестантов, особенно из городских, тоже есть подобная замашка: первые пять минут или даже весь первый день знакомства мыкать своему соседу; но ни один из них долго не выдерживает этого искуса, и через некоторое время вчерашние изысканно вежливые джентльмены уже с усердием поминуют родителей друг друга... Вот почему всегда как-то смешно слышать выканье между арестантами. Иначе было со мной. Сам того не замечая, я постоянно говорил "вы" даже и тем из них, которые мне тыкали.

Ни одного бранного слова также никто не слышал от меня; я был всегда предупредителен и услужлив: одним словом, я вел себя в каторге точь-в-точь так же, как вел бы себя и на паркетной гостиной. Наконец, все видели, что я "ученый", что у меня есть книжки, что я "все знаю" и ко мне можно обратиться за советом в самом сложном юридическом вопросе. Конечно, не меньшую роль играли в отношениях ко мне шпанки и деньги...

Ходил даже преувеличенный слух о количестве получаемых мною из дому сумм; каждый видел, что у меня всегда есть и табак и все, что можно купить в тюрьме, и что никому ни в чем я никогда не отказываю – напротив, нередко даже сам предлагаю одолжаться. В Шелайской тюрьме, где материальные обстоятельства арестантов были особенно стесненные, одолжения эти поневоле должны были принять самые широкие размеры. В результате всего этого получилось то, чего я первоначально не желал: случайно кто-то узнал мое отчество, и вот скоро вся тюрьма не иначе меня звала, как Николаичем или даже Иваном Николаичем; встречаясь в узком коридоре, передо мной сторонились; со мной чрезвычайно вежливо раскланивались; на работах старались поставить меня на самое легкое место или же прямо помогали мне, и отказаться от этой помощи значило бы иногда нанести тяжкое оскорбление. Наконец, камерный староста (пока я не заметил этого и не запретил) выделял мне лучшую порцию мяса... Впрочем, я тут же должен оговориться, что для большинства тюрьмы (в общем, относившейся ко мне как один человек), этот корыстный элемент имел, так сказать, идеальное только значение, так как само собой разумеется, что прямую выгоду могли получать от меня лишь очень немногие, жившие главным образом в одной со мной камере, а между тем обратные услуги и помощь я получал решительно ото всех. Однако я слишком далеко забежал вперед. Вернемся к начатому объяснению Гончарова.

– Видите ли, в чем дело, – заговорил словоохотливый старик, – там, на Покровском, дают старательские.

– Это что же такое?

– Работа рудничная за плату так зовется – сверх, значит, казенных уроков. На казенной работе, безо всякой, то есть, корысти, только чтобы розог аль карцера не заслужить, сами скажите – зачем стану я изо всех жил тянуться? Да наплевать мне на их работу! Я лучше так

просижу на отвале²⁶ али нарочно даже испорчу то, что другой уже сделал и сдал нарядчику. Сробил мало-мало что нужно, и сижу, трубку курю.

Вот посмотрели бы вы, как пудовку там собирали. Пудовкой бадейка такая махонькая зовется – три пуда пятнадцать фунтов каменьев в нее входит. Набери в нее серебряной руды из старых отвалов – вот и урок. Времени на это немало надо. Ну и пускаешься на обман. На низ-то пудовки наложишь простого свинцового блеску, чтоб только значило, будто серебро, а сверху и с боков настоящей руды натрусишь. Живой это рукой набираешь и несешь сдавать. Нарядчик видит, что сверху руда, и доволен. Ведет тебя в амбар, где руду ссыпают в кучу. Только ссыпать-то не зря тоже надо, а с толком. А то другой, знаешь, бултых все с маху – нарядчик и приметит, что внизу блеск один. "Стой, мерзавец, что делаешь!" Приходится тогда выкручиваться: сам, мол, обманулся, плохо еще различать научился руду от блеска. Ну, а меня, к примеру, старого подлеца и мошенника, не надо учить, как сделать! Мы не этаких оболтусов крутить умели... Я в пудовку-то не то что блеску – простого камчедалу²⁷ напихаю, снизу только, да по бокам и сверху немного настоящей руды натрушу.

И таким манером высыплю, что у него, помни, только в глазах засверкает! Будет, как дурак, рот разиня стоять... А то еще проще сделаешь. Лень мне, знаешь, по отвалу на коленках ползать, штаны рвать да по зернышку, как курица, клевать. Вот и заберусь я рано-рано утром в забой, где только выпалка была и дыму еще не продохнешь. Там руды, разумеется, пропасть самой настоящей. Ну, без огня, конечно, бродишь, я то словят – в шею накостыляют!.. Наберешь там и пять минут сколько душе твоей угодно, а иной раз и в запас еще где-нибудь в старых выработках припрядешь. Раз, впрочем, поймал-таки меня Измаилка-нарядчик. Слышу, бежит с фонарем, кричит не своим голосом: "Ты что тут, мерзавец, делаешь?" Только я и тут маху не дал, не на такого, брат, напал! Накинул рубаху на голову и бросился ему навстречу как оглашенный! Фонарь у него задул и самого с ног сшиб... Еле выбрался оттуда старик из тьмы кромешной; об каменья, сердешный, лоб разбил... Приходит в светличку, кряхтит, охает, оглядывает нас. А я уж там стою как ни в чем не бывало среди прочих арестантов, ровно бы делом занят – дощечку какую-то стругаю... "Это кто же из вас, чертей, говорит, фонарь у меня задул? Хоть бы так убежал, варвар, а то вишь как зашиб и перепугал насмерть. Не иначе как ты это, Петрушка Семенов, али ты, старый черт?" Это на меня то есть указывает... Мы с Петьюкой божимся, отрещиваемся, а сами смеемся про себя. Так и отделались. Чудной парень этот Измаилка. Не вредный он для нашего брата.

Вот с буреньем тоже чистый смех был. Казенного уроку десять верхов выдолбить полагается, а в мягкой породе и всех двенадцать. А на деле мы выбуривали три-четыре, много – семь верхов. Потому охоты ни у кого нет даром робить.

– А разве не взыскивали?

– Да как же со всех взыщешь? Ну конечно, если заметит нарядчик, что ты уж форменный лодырь, тогда посылает к смотрителю с запиской. Вот присылает раз Измаилка Сеньку Беспалого к чухне. Тот читает записку. "Ты что же, говорит, дитю, плохо работаешь? Нарядчик жалуется, что всего два вершка выбурил, а нужно десять". – "Никак невозможно, ваше благородие, – отвечает Сенька, – кобылка просто руки все покалечила об этот забой. Как сталь жесткая порода!" – "Ну ладно, говорит, дитю, я погляжу. Пошлю завтра на это место самых здоровых во всем руднике ребят". И точно, посылает Гришку Хохла с Ванькой Жиганом. Те возьми да и отхватай по полтора вершка – нарочно, вестимо. "Ну, – говорит чухна, – коли уж эти не могли больше выбуричь- значит, камень железо чистое. Я вас, говорит, дети, не выдам". Берет бумагу и пишет горному уставщику, что для этого, мол, забоя не станет больше давать людей, так как в нем народ шибко изнуряется... И помни: ведь так этот забой и закрыли!..

²⁶ Отвалом зовется место, куда сваливаются глыбы вывезенного из штольни или шахты камня. (Прим. автора.)

²⁷ Так выговаривают арестанты слово "колчедан"; "кварц" на их языке "шкварец", а то и прямо – "скворец", (Прим. автора.)

Вот видит горное ведомство, что на казенных уроках далеко не уедешь, а серебряная руда покровская между тем первый сорт: втапоры ей одной, почитай, все дело держалось. Ну, и учредили старательские. Определили нам жалованье: столько-то рублей за кубическую сажень выработки. И, боже ты мой! Откуда тогда что взялось! И люди, и сила, и охота бурить. Сделаешь сначала казенный урок (сполна десять верхов), а потом, не переводя духу, отбухаешь еще двадцать старательских! И помни зато: у каждого и табачок был, и молочко, и водочка... И в карты хватало поиграть. Ничего не имел тот разве, кто работать не хотел. Малахов, например, тот весь день спал, зато и жил голодом.

– Почему голодом жил? А казенная пища?

– Казенное мясо он за табак продавал. Да и какая ж еда казенная баланда!

– Но почему же он не работал? Ведь он, кажется, здоровый человек.

– Медведя повалит... Да просто не хотел... Лень-то, пословица говорит, прежде нас родилась.

– Зачем! Зачем пустяки говорить! – закричал вдруг безмолвно слушавший до тех пор Чирок. – Вот не люблю этого. Парамон – справедливый человек. Он не любит попреков этих да самохвальств, которые при дележке идут: тот больше, тот меньше сробил... У нас, знаете, все ведь иванцы, да хамства... А Парамон этого не любит! Он – справедливый человек. Покамест работал-то он, так супротив его никого не было. Он по тридцати верхов там выбуривал, где на казенном урке Гришка Хохол с Ванькой Жиганом по полтора отмочили. Справедливый человек Парамон – вот и бросил.

– Затвердил одно, как сорока: справедливый да справедливый! А чего ты сам-то понимаешь в этом деле? Ты ведь и не буривал, почесть, никогда! Ты всю свою каторгу в причиндалах отжил – то прачкой, то банщиком, то больничным служителем.

– Да ни дна тебе, ни покрывки! Бесстыжие шары твои! Нашел чем попрекать: причиндалом я, вишь, был... А были ль у тебя, как у меня, руки так надсажены? Ты сам сейчас сказывал, как ты работал-то, а у меня эвон вся кожа с пальцев послазила, паршивые ваши рубашки стирамши! В шары только наплевать тебе стоит, глот енисейский!

– Чего лаешься, чего ты лаешься, пермяк, соленые уши? Ишь хайло-то разинул! Что ты видел в своей Перме? Что ты знаешь, что понимаешь?

– Ты много знаешь, много горя видел, челдон желторотый!..

– Ну, я-то не желторотый, положим: пятьдесят третий год на свете живу, видал кое-что и знаю. А вот что ты-то знаешь, так то я забывать уже стал!

Я понял, что теперь интересные для меня темы на время исчерпаны, что будет тянуться бесконечная перебранка, и ушел на свое место, в угол камеры. Впоследствии я узнал, однако, что такие перебранки редко кончаются в арестантской среде потасовками; мне кажется, даже реже, чем в культурной среде... Нельзя сказать, чтоб это объяснялось отсутствием у арестантов самолюбия. О! я видал страшные вспышки самолюбия, когда дело касалось отношений с таким человеком, которого они считали в чем-нибудь выше себя... Тогда оказывалось у них такое тонкое чутье к обиде, какое не всегда сыщешь и у интеллигентных людей. Другое дело между собою, со своим братом. У меня волосы становились порой дыбом от ужасных ругательств, которыми они осыпали друг друга: не было такого грубого слова, такого обидного словесного оборота, которым они не старались бы уязвить противника; не только ему самому, но и матери, и отцу, и землякам его доставалось. Мне думалось, что после такого крупного разговора соперникам ничего больше не остается, как разойтись кровными, непримиримыми врагами... И что же? Через какой-нибудь день, а иногда и час, я видел их опять мирно и дружелюбно беседующими. Переход в неговорение, так часто имеющий место в образованной среде, для них совершенно непонятная и невозможная вещь. Самая страшная перебранка для них, в сущности, не что иное, как пустое словопрение, своего рода артистический турнир. Бывают, конечно, как везде и во всем, свои исключения; но, повторяю, за несколько лет моего пребы-

вания в Шелайском руднике не больше двух-трех раз пришлось мне наблюдать потасовки и мордобои, причиной которых были словесные оскорбления.²⁸

Зато редки между арестантами явления и другого сорта, случаи тесной и нежной дружбы. Каждый глядит на каждого не как на товарища по беде, а скорее как волк на волка, враг на врага... Самое слово "товарищ" – к месту сказать, одно из самых любимых арестантских слов – выражает, в сущности, очень немногое: товарищами зовутся люди, пьющие и едящие вместе, из одной посуды. Но такие экономические связи происходят большею частью случайно. Слово "друг" еще меньше осмысливается.

Ссора Чирка и Гончарова была между тем прервана появлением надзирателя, объявившего, что старостой в нашей камере назначается старичок Гандорин, который и вчера уже исполнял временно эту должность. Затем надзиратель предложил камере высказаться, кого желает она выбрать общеартельным старостой, прачками, парашниками, хлебопеками. Началось галденье. Назывались все мало знакомые мне фамилии. Из нашего номера предложили Кузьму Чирка в прачки, а Яшку Перванова (он же Тарбаган) – в парашники.

– Тебе, Яша, уж не впервой этим делом займаться, этот спирт по твоему носу... Да и ты тоже, Чирок, к бабьему положению привычен. Знай себе наволоки исстирывай!

– Вот, дурак, какое слово сказал! За него тебе плюх надавать надо.

– Ну-ну! – прикрикнул надзиратель. – В старосты кого хотите?

Все переглянулись между собой и помолчали немного. Гончаров первый указал на меня.

– Вот они у нас грамотные, да и люди совсем особого рода. Кривизны уж никакой не будет...

– Николаича, Николаича в старосты! – загалдел весь номер. Но я замахал, что называется, и руками и ногами.

– Увольте, господа! Мне неудобно.

Пытались уговаривать меня, но я наотрез отказался.²⁹⁽⁴⁹⁾

К великому моему удивлению, и в большинстве других номеров в первую голову называли меня; а я так наивно предполагал, что большинство не знает и о самом моем существовании!

Надзиратель везде объявлял, что я уж отказался, и потому, погалдев и поспорив некоторое время, сошлись на некоем Колпакове, молодом развязном парне из червонных валетов. Колпакова, впрочем, Лучезаров не утвердил, и тогда в старосты выбран был другой арестант, некто Юхорев.

Между тем старик Гандорин принес из кухни небольшой бак с "крошонкой", то есть с мелко нарезанным мясом, полагавшимся на двадцать человек нашей камеры. На каждого арестанта в нерабочий день отпускалось 32 золотника сырого мяса, а в рабочий 48 золотников. За

²⁸ Есть два только бранных слова в арестантском словаре, нередко бывающие причиной драк и даже убийств в тюрьмах: одно из них (сука) обозначает шпиона, другое, неудобно произносимое – мужчину, который берет на себя роль женщины (Прим, автора.)

²⁹ Один из критиков настоящей книги⁽⁴⁹⁾ нашел, что в этом именно отказе и заключалась наиболее крупная ошибка Ивана Николаевича. Не будь этой ошибки и не будь выбран в старосты Юхорев, не было бы, по его мнению, и тех неприятностей, какие описаны автором во втором томе. Но мнение это показывает только, что почтенный критик не вник в сущность положения и не уяснил себе мотивов отказа Ивана Николаевича, отнюдь не бывших капризом или желанием покоя: Ивану Николаевичу нравственно невозможно было взять на себя права и обязанности старосты уголовной тюрьмы – звания, неизбежно сопряженного со всякого рода столкновениями с начальством, унижениями, компромиссами и пр. Не говоря уже о том, что начальство и не утвердило, бы, конечно, подобного избрания... Но даже случись невозможное – будь Иван Николаевич выбран и утвержден, что бы из этого могло выйти? Только то, что недоразумения между ним и кобылкой начались бы значительно раньше и ему все равно пришлось бы очень скоро отказаться от неподходящей к его положению должности. Автору казалось раньше, что все это понятно само собою, но теперь он счел излишним высказаться яснее, (Прим, автора.)

⁽⁴⁹⁾ Имеется в виду русский критик и историк литературы А. М. Скабичевский (1838–1910), написавший книгу "Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне" (А. Скабичевский. Сочинения в двух томах, т. 2. СПб., 1903, стр. 746). Это примечание автора внесено впервые во второе издание "В мире отверженных" (1899).

час или за полтора до раздачи обеда повар в присутствии общего старосты и дневального вынимал мясо из котла, освобождал его от костей и разрезал на столе большими ножами на мелкие кусочки. Затем староста раскладывал эту "крошонку" в десять бачков по числу камер (кухня считалась за камеру) и живущего в них народа. Раскладка производилась голыми руками, не всегда, конечно, чистыми... Камерные старосты уносили бачки в свои номера, и там происходила вторичная раскладка.

С невольным омерзением смотрел я, как плюгавый старикашка Гандорин, не помыв даже рук, размещал на грязном столе (который он обтер, впрочем, своей шапкой) двадцать мясных кучек. С рук его текло сало; кроме того, и из носа у него текла подозрительная жидкость, которую он принужден был ежеминутно вытирать тою же сальной рукою. От этого вскоре и нос его и губы получили глянцевиный вид. Старичок отличался, видимо, большой добросовестностью: ему все казалось, что одна кучка больше, другая меньше, чем следует, и он долго возился, перекладывая из одной кучки в другую по ниточке мяса. Меня чуть не вырвало при виде этой отталкивающей операции. Я лег на нары и отвернулся к стене. Но дележка была уже окончена; арестанты бросились разбирать свои порции. Голод, как говорится, не тетка, и, прождав некоторое время, я тоже подошел взять свою долю. Меня удивила ее скромная величина: счетом было ровно пять кусочков мяса, каждый с наперсток величиною, и из этого числа половина состояла из неудобных для жевания сухожилий. Я любопытствовал спросить, столько ли дается мяса, в других рудниках.

– По закону везде одно и то же полагается, – отвечал словоохотливый Гончаров, – только... это уж от нашего брата зависит, чтоб все, что полагается, до рта доходило. Это еще хорошая вот порция: раз, два, три, четыре... Что же! шесть кусочков у меня. Это еще слава богу! В нерабочий день можно быть сытым. А в других тюрьмах, где нашей кобылке полная воля дана, поверите ли, такой порции в светлый Христов день не получишь!

– Почему же так? Коли там ваша воля – значит, начальство там уж не обманет вас.

Все засмеялись над моей наивностью. Гончаров тоже хихикнул и помолчал немного.

– Как вы судите, по-робячьи! – сказал он наконец. Да наш брат кобылка хуже начальства. Начальство-то у меня не украдет, потому я сам мошенник. А свой украдет. А не он у меня украдет, так я у него! На то мы и мошенники...

– Кто же мясо крадет?

– Кто! ... Да разве там мало причиндалов, на кухне-то? Староста, повара, дневальные, костогрызы...

– Это что за костогрызы?

Которые кости грызут: жиганы, которые проигрался, и есть нечего. Порцию-то свою иной за месяц вперед спустит. Ну, и толчется в кухне, когда мясо крошат. Иваны тоже у старосты и у поваров покупают.

– А как же я слышал, будто у арестантов строго преследуется воровство в тюрьме, у своего брата?

– Это точно. Самым последним человеком тот считается у нас, кто у своих же ворует – табак там али сахар. И помни: ежели поймают вора в тюрьме, до смерти заколотят! Я сам всю жизнь вором был, чего таиться? Первой степени подлец и разбойник был; ну, а в тюрьме... Тут я честный человек и морду тому поколочу, сукиному сыну, кто скажет, что я вот хоть с эстолько украл когда у своего брата арестанта!

– А разве не такое же воровство: красть у артели мясо?

– Нет, это разные вещи! У нас это воровством не считается.

– Какое же это воровство? – подтвердил Чирок с видом глубокого убеждения. – Тут с общего согласу. В старосты на поправку идут... А то из-за чего же и стараться? Артель с тем и выбирает. Никакого тут воровства нету.

– Вестимо, нету, – хором проговорила вся камера. Один Гончаров, как показалось мне, хитро посмеивался, куря свою трубку. Меня заинтересовала эта странная арестантская логика.

– Да ведь сами ж вы жалуетесь, – сказал я, – что казенный обед в других тюрьмах настоящие помои? Ведь этак нельзя жить целые годы: замрешь!

– Там не замрешь! – отвечал мой собеседник. – Там у каждого есть деньги. Там я к казенной-то баланде за грех считал и притронуться. И баланду и кашу в Покровском у нас целыми ушатами надзирательским свиньям относили.

– Хорошо, если есть старательские, – не унимался я, – но не во всех ведь рудниках они есть, да и работать там могут только самые сильные.

– Да разве только старательские одни! Вы нашего брата еще не знаете, вы как дите малое: все-то вам разжуй да в рот положи...

– И то еще скажет: ложь! – срифмовал Железный Кот.

– У нас много доходных статей, и каждый может найти свою точку. Кто в карты выигрывает, кто на стреме постоит, надзирателя покараулит – за это тоже свою долю получит; кто водкой торгует, кто из семейных пирожками, молоком, кто карты у себя держит. Да боже ты мой! Мало ли сколько изворотов найдет смекалистая башка! Прачка – тот полотенце мне выстирает, я ему заплачивать сколько-нибудь должен, потому это не казенная работа. Другой болезнь какую измыслит себе, в больницу ляжет: молоко али мясо продаст за несколько дней – вот на табачишко и есть. А проигрался в пух и прах – казенную вещь можно спустить. Ну, конечно, шкуркой иногда платиться приходится: так ведь это нашему брату то же, что в баньке попариться... Ха-ха-ха! Еще в пользу идет – кровь разгоняет... Таким вот манером и живут. Есть, положим, в тюрьме двести целковых – они так и идут из рук в руки колесом, не залеживаются долго у одного. Все на них и кормятся.

Эта любопытная финансовая теория была прервана звонком на обед, полагавшимся в одиннадцать часов утра, новым грохотом замка и появлением Гандорина с огромным баком щей в руках, знаменитой арестантской баланды. Мне она показалась чистейшими помоями: немного крупы в грязной воде, немного капусты, несколько неочищенных картофелин, множество тараканов и ни капли навару. Да и откуда мог взяться навар, если арестанты вынимали мясо из котла, едва дав ему свариться, так как в противном случае оно стало бы расплзаться, и никакая дележка на порции была бы невозможна. Однако сожители мои единогласно похвалили шелайскую баланду и опростали до дна весь бак. Обстоятельство это сильно заставило меня усомниться в их рассказах о райском житье в других тюрьмах. Гончаров словно угадал мои мысли и, ложась на нары, опять заговорил:

– Хороша-то она хороша, только ежели на ней одной сидеть, так долго не протянешь. А придется, видно, сидеть. Вот в этой тюрьме, и мы скажем, большой был бы грех у артели воровать. Потому последние крохи... Ниоткуда больше не достанешь.

– Вестимо, ниоткуда! – уныло подтвердил Чирок и добавил, подходя ко мне: – Позвольте табачку на папироску.

За ним безмолвно потянулись к моему кисету Тарбаган и другие. Совершив это священнодействие, все полегли на нары и, казалось, погрузились в созерцание предстоящего горького будущего. Все замолчало, и скоро в камере послышался дружный храп. Это настал послеобеденный отдых. В пять часов раздался звонок на ужин. Принесли размазню из гречневой крупы, жидкую, как суп, и невыразимо отвратительную на вкус; долгое время, пока не выработалась привычка, мне слышался в ней запах псины... Вскоре же после ужина подали вечерний чай. В шесть часов камеры отперли для вечерней поверки. По коридору раздался оглушительный свисток, за которым последовал взволнованный крик надзирателя:

– Вылазь на поверку! Скорее стройся на дворе, сам начальник будет!

Напуганные всем предшествовавшим, арестанты впопыхах надевали халаты и сломя голову, толкая один другого, бежали во двор, где и строились в два ряда, камера отдельно от

камеры. Дежурный надзиратель в белых перчатках бегал вдоль строя и, озабоченно поглядывая на ворота, делал нам предварительный счет. Наконец ударил звонок. Старший дежурный, стоявший за воротами, крикнул сквозь решетку: "Идет!" Все всколыхнулись, как море, откашлялись, высморкались – и стихли, замерли точно вкопанные. Сквозь решетчатые ворота видно было, как стоявшие праздно казаки испуганно побежали с улицы в караулку... И вот под ворота вступила крупная фигура Шестиглазого, в накинута на плечи шинели и с тростью в руке, окруженная свитой надзирателей. Видно и слышно было, как старший надзиратель поспешно подбежал к нему и, сделав под козырек, произнес рапорт: "Господин начальник, при Шелаевском руднике все обстоит благополучно; в тюрьме находится..." Дальше нельзя было слышать. Замок загремел, ворота распахнулись.

– Смир-р-но!! Шапки дол-ло-ой!! – скомандовал стоявший перед строем дежурный таким зычным голосом, что затрепетало бы и не робкое сердце.

Бритые головы моментально обнажились.

– Шапки надеть!

– На-кр-ройсь!! – Шапки очутились на головах. Дежурный быстрыми шагами подлетел к медленно подплывавшему Лучезарову и, сделав под козырек, отрапортовал скороговоркой:

– Господин начальник! В Шелаевской тюрьме все обстоит благополучно, в строю находится сто семьдесят человек, в лазарете восемь, арестованных два.

– Здравствуйте! – благодушно приветствовал его начальник, опуская руку, которую во время доклада тоже держал у козырька.

– Здравия желаем, ваше благородие! – гаркнули было кое-кто из арестантов, не поняв, что это приветствие относилось не к ним.

– Здравия желаю, господин начальник! – отвечал подобострастно надзиратель и быстро отскочил в сторону.

– Здорово, братцы! – возвышая голос и ближе подходя к строю, произнес Лучезаров.

– Здр-рав-вия желаем, господин начальник! – грянули, словно воспрянувшие от тяжелого сна, братцы; эхо далеко пронеслось за стены тюрьмы и долетело до самых сопок.

– Командуйте на молитву!

– На молитву! Шапки до-лой!

Арестантский хор, ставший по заранее сделанному распоряжению в середине строя, пропел довольно стройно и громогласно обычные молитвы.

– На-кройсь!

Шапки опять опустились на головы. Минуты две Шестиглазый стоял, безмолвно оглядывая арестантов, которые были ни живы ни мертвы.

– Вот что! – начал он повелительным голосом. – Сегодня, с моего дозволения, вы выбрали общего старосту, поваров и других артельных служителей. Пускай же они знают (да и вы все знайте!), что я не потерплю в моей тюрьме воровства. За каждый случай замеченного мошенничества в кухне, в больнице или на другой артельной должности я буду отдавать виновных под суд. Не говорю уже о том, что воровать у своих товарищей, даже с вашей арестантской точки зрения, позор и стыд. Знайте сверх того, что, кроме отпускаемых на котел казенных продуктов, я ничего пропускать в тюрьму не буду. Чай, сахар и табак можете выписывать на свои деньги только один раз в неделю и не больше как в назначенных мною размерах на одного человека. Никаких майданов я не допущу. Частных улучшений пищи также не дозволю. Не дозволю, чтоб одни ели лучше или хуже других! Другие тюрьмы мне не указ. Шелаевская тюрьма – образцовая каторжная тюрьма, и я хочу, чтоб она не на бумаге только была каторжной. Каторжный режим, по моему глубокому убеждению, должен быть также и пищевым режимом. Впрочем, если кто хочет, может отдавать свои деньги на улучшение пищи для всей тюрьмы. Надзиратели, разводите арестантов по камерам!

– Первые три номера, направо! – Средние три номера, пол-оборота направо! – Последние три номера, налево!

– Шагом ма-арш!

Арестанты церемониальной поступью и в строгом порядке разошлись по своим местам, потихоньку толкая между собой о "прижмем насчет пишки", который посулил им Шестиглазый.

– Так, братцы мои, и режет прямо в глаза: "У меня, говорит, настоящий каторжный прижим будет".

Но церемония дня этим не кончилась. В камерах приказали тоже выстроиться в две шеренги! Шестиглазый обходил камеры и производил вторичный окончательный счет. В каждой камере при появлении его надзиратель кричал: "Смирно!" и, страшно скосив глаза, рапортовал: "Двадцать человек, господин начальник!"

Наконец, дверь захлопнулась, замок щелкнул, и мы, оглушенные, отуманенные всем этим громом и блеском, одуревшие, остались одни.

– Ну-ну! – резюмировал общее настроение Гончаров.

– О господи, владыко живота моего! – простонал старикашка Гандорин и действительно схватился за живот, заболевший у него со страху... Это всех рассмешило, и тишина прервалась общим разговором. Но я не слушал его и, улегшись в своем углу, старался успокоиться и собраться с мыслями.

IV. На шарманке

Следующие два дня, назначенные для отдыха, прошли как две капли воды похожие один на другой. Разница была только в разговорах арестантов между собою да в том, что второй день был постный, среда, и потому мяса в баланде совсем не было. Впрочем, нерелигиозными, очевидно, соображениями руководилось начальство, учреждая в каторге два постных дня в неделю, потому что сало для каши и в эти дни отпускалось. Такая странность особенно бросалась в глаза в великом посту, когда арестантов заставляют поститься целых три недели (причем на одной из них происходит говение) и все это время угощают пустой баландой с салом. Кроме постов по средам и пятницам, в Шелайской тюрьме еще два раза в неделю отпускалось, вместо мяса, так называемое осердие, или, по арестантскому произношению, "усердие", то есть печенка, брюшина и легкие. Порция выходила несколько больше обыкновенной, но зато весьма лишь неприхотливый желудок мог есть это "фальшивое", как говорили арестанты, мясо: скользкие, как жаба, легкие, плохо вымытая брюшина, отдававшая своими естественными ароматами, с трудом лезли мне в горло. Таким образом, есть настоящее, не фальшивое мясо мне приходилось только три раза в неделю – и, ознакомившись покороче с пищевым режимом Шелайской тюрьмы, я с невольным ужасом помышлял о нескольких годах, которые предстояло мне провести в ней. "Тут замрешь!" – твердил я про себя арестантскую поговорку...

На вечерней поверке второго дня по-прежнему присутствовал сам Лучезаров, но никаких речей больше не держал. Вечером третьего, дня старший надзиратель обошел ряды, приглашая арестантов объявить свои ремесла и мастерства. Сначала все молчали, потом начали поталкивать полегоньку один другого: "Иди, Андрюшка... Может, заробишь что на табачишко... Знаешь ведь, какая тюрьма здесь". Водянин из нашей камеры первый вызвался в кузнецы и, назвавшись по фамилии, высунулся было из шеренги.

– Не выходить из строя! Стоять на месте! Руки по швам! – кинулось к нему несколько надзирателей. Железный Кот быстро юркнул в ряды.

– Еще кто? Молотобойцем кто может быть? Из нашей же камеры вызвался некто Ефимов. Малахов, уже выпущенный из карцера, назвался бондарем. Из других камер нашлись плотники, столяры, пильщики, слесаря, сапожники. "После этого дежурный прочитал наряд на работы. Тут была группа назначенных для рытья какой-то канавы, для постройки зимовья, для возки воды и дров и, наконец, – горных рабочих. С невольным замиранием сердца ждал я, куда попадет моя фамилия, и был душевно рад, когда услышал ее в числе назначенных в гору, как потому, что желал познакомиться именно с рудничными работами, так и потому, что все остальные, хотя и более легкие, казались мне как-то менее почетными. Прочитав наряд, надзиратель объявил назначенным в гору, что, в виду дальности расстояния ее от тюрьмы и неудобства возвращения на обед, они будут ходить туда на один "уповод" и потому могут брать с собою хлеб и котелки для варки чая.

Шпанка весь вечер волновалась. Сидеть безвыходно под замком успело уже надоест, и всем чрезвычайно нравилась перспектива предстоящей перемены. Обсуждали также вопрос о том, будет ли в Шелайском руднике выдаваться "почтение", – так выговаривали слово "поощрение". По словам арестантов, мастеровым, работавшим в руднике, шли от горного ведомства какие-то деньги; кузнецу пять рублей в месяц, дневальному и крепильщику по четыре рубля и т. п. Ужасно интересовались также вопросом о том, что за зимовье хотят строить. Гнусавый человек, предлагавший сажать докторов в муравейник, заговорил таинственным шепотом:

– Я знаю... Для вольной команды.

– Для какой вольной команды? Чего плетешь?

– Не плету, а знаю... Выпускать скоро будут... Ведь уж многим строка-то покончились. Вон Андрюшке Повару, Парамону, Тарбагану, Пестрову Ромашке, Летуну, Скоропадову...

– Так-то оно так. Только будут ли здесь выпускать-то? Образцовая ведь тюрьма-то...

– Будут... Я тебе говорю!

– Да откуда знаешь ты, гнус проклятый? С нами же тут все дни под замком сидел.

– Уж знаю, мое дело... От надзирателя слышал!

– Что и за гнус у нас, братцы! Это не гнус, а прямо два сбоку. С ним и ведомостей не надо.

Я поглядел на гнуса. Все лицо его сияло довольной и вместе лукавой усмешкой; длинные рыжие усы шевелились, как у татарина, чахоточная грудь дышала прерывисто и часто.

Высказав свою сенсационную новость, он улегся на нары и по-прежнему замолк.

Начались бесконечные разговоры о том, кому и когда выходить в вольную команду. Я полюбопытствовал спросить, кто пойдет из нашей камеры в гору. Оказалось, что только один Гончаров и его земляк-товарищ Петрушка Семенов, молодой геркулес, отличавшийся угрюмой молчаливостью. Кузнец и молотобоец для горы назначены были из других номеров; Железный Кот и Ефимов оставались при тюремной кузнице. Чирок подал мне благой совет выспаться хорошенько перед работой, и я, послушавшись, немедленно лег и уснул как убитый. На следующий день я проснулся еще задолго до свистка, подаваемого за двадцать минут до того, как отворяют камеры на поверку. Оделся, умылся, снова прилег и успел еще немного соснуть, пока загремели наконец двери и раздался обычный оклик: "Вылазь на поверку!" Следовательно, было пять часов утра. В шесть часов, когда кончилось утреннее чаепитие, раздался второй звонок у ворот, а в коридорах тюрьмы оглушительный свисток и крик надзирателя:

– На работу! На работу! Стройся на дворе группами, кто куда назначен.

Все хлынули на двор, отыскивая своих. Я наглядел моих богатырей, Гончарова и Семенова, и стал позади одного из них. У каждого горного рабочего была за пазухой холщовая онучка с ломтем хлеба и чайной чашкой; у некоторых, кроме того, котелки. Сначала вызвали за ворота тех, которые были назначены для рытья канавы, затем плотников и позже всех горную группу. За ворота нас выпускали по одному человеку, причем тут же обыскивали, ощупывая всю одежду с головы до ног. На плацу перед тюрьмой вторично велели построиться и окружили густым конвоем казаков. Несколько раз пересчитали. Старший конвойный расписался в дежурной комнате, что принял тридцать пять арестантов. Затем раздалась команда надзирателя, который должен был сопровождать нас в гору:

– Пол-оборота на-пра-во! По четыре человека в ряд! Шагом марш!

И кобылка очертя голову полетела в неведомую даль – куда бы то ни было, лишь бы подальше от тюрьмы, лишь бы на что-нибудь новое, хотя бы это новое было и в десять раз горше...

Сначала дорога опускалась вниз. Повсюду кругом желтела мелкая таежная поросль – молодая лиственница, жидкая береза, тальник, кусты багульника и шиповника, а по всему горизонту высоко поднимались то совершенно голые, то покрытые таким же кустарником сопки. Мы не знали, в которой из них помещается Шелайский рудник. По слухам, все шелайские горы были изрыты шахтами и прорезаны штольнями. Местность эта была полна смутных и даже страшных легенд. Указывали на одну из сопок и говорили, что тридцать лет назад там случился обвал, от которого погибло больше шестидесяти человек каторжных.

– Это скрывают, конечно, – рассказывал немолодой уже арестант с сухим, как щепка, лицом и бойкими черными глазами, – скрывают, чтоб не запугивать нашего брата. Ну да мы-то знаем!

– И ничего-то ты не знаешь! – возразил ему надзиратель, шедший рядом и слышавший разговор. – Завалить обвалом действительно завалило, только не здесь, а в Алгачах.

– А алгачинский нарядчик тоже сказывает, что, мол, не у нас, а в Шелайском.

– Не может этого быть. Алгачинский нарядчик, Степан Иванович, мне родной дядя. Кому же из нас лучше знать?

. – Может быть, вы и лучше знаете – супротив этого я не спорю, – только начальство вам самим приказывает скрывать от нас.

– Для чего же скрывать?

– А для того, что – знай это кобылка – никого бы тогда и в гору не загнать!

– Врешь, старик! Загнали бы, захотели. Ведь вот ты же знаешь, говоришь, а гонят тебя – и идешь.

Старик перестал спорить, но долго что-то ворчал про себя. Арестанты были, видимо, на стороне своего брата. Многие мне подмигивали и шептали:

– Какую пулю отмочил? Да нас, брат, не проведешь. Знаем мы вашу змеиную породу!

– Во! Во! – дернул меня кто-то за рукав. – Смотри-кось, Николаич. – Я оглянулся влево, по направлению к указанной сопке, и мог только разглядеть несколько огромных куч наваленных камней и черневшие местами ямы.

– Это что за ямы? – спросил я.

– Шахты.

– Здесь и был обвал?

– А кто его знает; може, и здесь.

Дорога начинала подниматься в гору. Пройдя с четверть версты, я почувствовал, что задыхаюсь, и невольно закричал на сибирском наречии: "Легче!" Надзиратель объявил привал.

Отдохнув минут пять, снова тронулись в путь. Подниматься становилось все труднее и труднее. Но уже недалеко была светличка, небольшой домик, в котором жил рудничный сторож и где должна была производиться раскомандировка арестантов по работам. Тут же стояла и кузница. Ввалившись всей толпой в светличку, мы увидели дряхлого, подслеповатого старичка с гривой седых нечесаных волос и лохмотьями на плечах. Острый носик его, казалось, вынюхивал воздух; также и глазки, несмотря на старческую тусклость, производили впечатление лукавства, того, что называется себе на уме. Это был горный сторож. Рядом с ним сидел нарядчик, плотный румяный мужик, одетый в плисовые черные шаровары и поношенную поддевку с красным кушаком. Звали его Петр Петрович. Он немедленно начал расспрашивать каждого из нас, кто какую работу знает; но я подметил, что все, даже и бывалые, старались уверить его, что в первый раз в глаза видят рудник. Нашлись, впрочем, кузнец и плотник (крепильщик), открывшие накануне свои ремесла тюремному начальству. Из дальнейшего разговора я очень мало понял; слышал только, что меня назначили в верхнюю шахту па какую-то "шарманку".

– Это что же такое? – спросил я с недоумением у Гончаром. Мне пришло в голову – уж не шутят, ли надо мною.

– Да вы не беспокойтесь! С вами Петька Семенов назначен, он все вам объяснит и укажет.

– А вы сами разве в другое место?

– Я тут остаюсь нарядчику сани делать.

Я подошел к Семенову и узнал от него, что мы пойдем на самую верхнюю шахту воду откачивать.

– А шарманка-то как же?

– Это и есть шарманка – воду откачивать, – улыбнулся Семенов, показав два ряда ослепительно белых зубов.

Я в первый раз взгляделся в его лицо и, признаюсь, с трудом мог оторваться. Угрюмое и жесткое в обыкновенное время, – озаряясь улыбкой, оно пленяло чисто детским простодушием; серые глаза, в глубине которых таилась недобрая сила, блистали тогда доверчивостью и располагающей мягкостью.

– Сколько вам лет, Семенов? – невольно полюбопытствовал я, залюбовавшись его улыбкой.

Улыбка сразу исчезла, как солнце за налетевшими тучами.

– Двадцать восемь, – ответил он нехотя и отошел прочь.

Наблюдая за ним издали, я видел опять только серьезное, холодное лицо и насупленные брови. Небольшие, едва заметные усики придавали нижней части лица, вообще очень красивого и энергичного, какой-то неприятный животный характер. Лоб у Семенова был большой, совершенно четырехугольный; высокий рост и железные мускулы рук дорисовывали фигуру. Каждый раз мне чувствовалось не по себе, когда я глядел в эти серые большие глаза: казалось, они глядели не прямо на вас, а, пронизывая насквозь, видели что-то за вашей спиной, и являлось инстинктивное опасение, что вот-вот схватит вас за затылок железная рука и моментально сорвет кожу с черепа. Я дал себе слово узнать поближе этого человека, в душе которого, несомненно, жил какой-то демон.

Всходить на верхнюю шахту было еще тяжелее, гора поднималась все круче и круче, и на пространстве семисот шагов мы отдыхали по крайней мере пять раз. Впрочем, пятеро назначенных вместе со мной арестантов сами, по-видимому, не чувствовали потребности в роздыхах и делали это лишь ради меня. При этом все они были обременены тяжестями: один нес громадный толстый канат из морской травы, весивший не меньше трех-четырёх пудов; другой – деревянные носилки; еще двое по тяжелой бадье, окованной железными обручами; наконец, пятый железную балду в полпуда весом, топор, кайло и несколько кирок. Я же нес только пустое ведро для чаепития и хлеб. Когда мы добрались наконец до места назначения, сердце у меня билось, как птица в клетке: задыхаясь, упал я на землю и так пролежал несколько минут, пока пришел в себя. Тогда только я с любопытством огляделся вокруг. Мы сидели возле большого деревянного строения, имевшего форму конуса или колпака вышиной около пяти сажен, прикрывавшего собою вход в шахту. По бокам его были две двери, запертые на замок; старший конвойный отомкнул их. Два казака немедленно стали с ружьями по обеим сторонам колпака, а пятеро других начали разводить костер.

Я взглянул вниз. В глубине котловины сверкала ограда Шелайской тюрьмы; самый зоркий глаз едва мог бы различить черные точки часовых, проходившие по ее ослепительно белому фону; около тюрьмы чернело много других строений, производивших массою дымившихся в утреннем воздухе труб впечатление целого маленького городка. Значительно выше, окруженная болотом, виднелась горная светличка, из которой мы только что вышли. Еще выше, несколько в стороне, стоял красивый домик уставщика Монахова, заведовавшего Шелайским рудником. Прямо под нашими ногами возвышался точь-в-точь такой же, как наш, деревянный колпак, прикрывавший собою среднюю шахту. Во время пути, под влиянием страшной одышки, я и не заметил ее; шахты разделяло расстояние около двухсот шагов. Тут только услышал я от арестантов, что около светлички начинается еще штольня – горизонтальный коридор, углубляющийся в гору по направлению к нам, коридор, в который должны впоследствии упасть вертикальные шахты, чтобы играть в нем роль отдушин. Удовлетворившись этими первыми сведениями, я невольно залюбовался расстилавшеюся передо мною картиной. Стояло яркое осеннее утро; в воздухе было свежо, тихо и как-то радостно; по бледной небесной лазури не плыло ни одного облачка. Только что взошедшее солнце уже проливало море блеска. Местами сопки сверкали ослепительно ярко, местами от них ложилась черная тень. Темно было также в ущелье, где находилась тюрьма. Зато выше ее, в противоположной от нас стороне, ландшафт был особенно живописен и величествен. Там поднимался целый амфитеатр гор, громоздившихся одна на другую и наконец исчезающих в синевшем утреннем тумане. И мне невольно вспомнились слова поэта:

За горами горы,
Хмарю повиты,
Засияны горем,
Кровию политы...^[17]

Да! страшная мысль о том, сколько горя, слез и даже живой человеческой крови видели эти бездушно красивые горы, омрачала наслаждение ландшафтом и невольно заставляла глаз отворачиваться... Я посмотрел в другую сторону, вверх от шахты. Там высилась огромная гора, по-видимому, господствовавшая над всей окрестностью. Один из казаков, заметив мое любопытство, подошел и сказал, что в этой-то именно горе и находятся главные выработки Шелайского рудника.

– Она вся изрыта шахтами, и руды там еще многое множество. Только теперь, тридцать вот уж лет, водой все затоплено – подступиться нельзя. Мой дедушка там робил... Он и по сию пору жив еще.

– Каторжный был?

– Да почитай что каторжный. Втапору все крестьяне каторжные были... Мы заводские ведь. Как послушать дедушку-то, так нонешние каторжные в раю живут супротив ихнего. Раз-гильдеев ведь тогда был...^[18] Вон спросите-ка светличного старика: он ведь тоже – и здесь, в этой самой горе, робливал и на Каре был. Вам теперь какая каторга? Уроков с вас, почесть, не спрашивают, порют редко, в препорцию, а втапору дня не проходило, чтоб кровь рекой не лилась!..

Казак отошел. Все невольно задумались.

– Что же? Посмотрим, что за шахта такая, – предложил я арестантам, и мы отправились в колпак.

Посредине его находился большой четырехугольный колодец, почти доверху наполненный водою. Я нагнулся и почти тотчас же зажал нос – такой вонью разило оттуда...

– Тридцать лет стояла – прогнила, – объяснил кто-то из арестантов.

– Что же мы будем делать?

– А вот придет нарядчик – укажет. Торопиться нам нечего. Казна-матушка подождет.

– Что мы – каторжные, что ль? Торопиться!..

– Кто поспешит, людей насмешит.

– Да я не к тому говорю, чтобы торопиться, – оправдывался я, – а просто спрашиваю: что мы будем делать?

– Шарманку крутить.

– Где же тут шарманка? Все захохотали.

– Ну и плохи ж вы, Миколаич! Тут об книжках-та забыть надеть...

Я совсем сконфузился и начал оглядываться по сторонам. Над колодцем возвышался, на перилах, вал с железными ручками. Я взялся за одну из них, и огромный вал заскрипел и грузно повернулся. Тут только вспомнил я о принесенных нами бадьях и канате.

– Эхма! Давайте-ка лучше песенку, братцы, споем! – сказал молодой, довольно красивый парень Ракитин, имевший в тюрьме прозвище "осинового ботала" (так назывался бубенчик, который вешают на шею коровам, чтоб они не заблудились в тайге).

И, не дожидаясь поощрения, он запел высоким, сладеньким тенорком:

На серебряных волнах,
На желтом песочке
Долго-долго я страдал
И стерег следочки.
Вижу, море вдалеке
Быдто всколыбнулось...

Но эта песня, должно быть, не понравилась ему, и он тотчас же затянул другую:

Звенит звонок – и тройка мчится
Вдоль по дороге столбовой;
На крыльях радости стремится
Вдоль кровли воин молодой.^[19]

Я насторожил уши.

– Вдоль чего стремится?

– Вдоль кровли воин молодой... То есть совсем, значит, молоденький паренек, ну вроде как я... И красавец такой же... И едет он к жене своей родной, супруге своей драгоценной...

– Постойте! Как же по кровле может он ехать? По дороге, по полю – так, а по крышам кто же ездит? "В дом кровных" нужно петь, то есть в дом родных.

– Хорошо-с. Это я беспременно запомню, будьте спокойны. Ох, и жестокая ж была у меня прежде память, Иван Николаевич, до чрезвычайности я, бывало, помнил всякую вещь! И ужасную страсть имел к наукам. Ну, а с тех пор как женился, гораздо тупее стал.

– А, вы женаты, Ракитин? Где же ваша жена?

– Здесь же, за мной пришла. Да разве вы не, видали- в обозе женщина ехала? Скверненькая такая, скверненькая старушоночка, плюнуть хочется! Она на пятнадцать лет меня старше.

– А вам самому сколько лет?

– Двадцать седьмой вот с покрова пошел. И мальчишечка у меня, знаете, есть, сюда же пришел, Кешей звать. Третий годок. Ох, и болит у меня сердечушко об ем, как подумаю, – болит!

– А об жене не болит?

– Жена что! Жен можно двадцать добыть, стоит захотеть. Особенно такому артисту, как я!.. Любая баба с ума от меня сойдет, от честной моей красоты!

И он вдруг пустился в пляс, приговаривая скороговоркой:

Ви-лы, грабли, две метелки и косач!
Ви-лы, грабли, две метелки и косач!
Приходили две чертовки и лешак,
Утащили две пудовки и мешок!

– Ах ты, ботало осиновое! – хохотали арестанты.

В эту минуту в дверях появился нарядчик Петр Петрович.

– Запарился же я, ребята! – сказал он, снимая шапку и обтирая лоб красным клетчатым платком. – Трудненько будет забираться сюда.

Тяжело дыша, он уселся рядом с нами на бревенчатом широком срубе шахты. Я попросил его объяснить, что имеет в виду горное ведомство, предпринимая эти работы.

– Да, почесть, ничего, паря, не имеет... Так, дурные деньги завелись... К старым выработкам, вишь, подойти хотят, что в той большой сопке находятся. Там вода теперь – ее нужно спустить через штольню вниз, вон в то болото у светлички.

– Когда же осуществится этот план?

– В том-то, паря, и дело, что – когда?... Если бы вольный труд... А с картежными никогда этого не будет.

– Никогда?..

– Ну, может статься, лет через тридцать – сорок. Надо только думать, что гораздо раньше надоест деньги зря бросать... И в старину-то к тому ж, шелайская руда не из первосортных была: на пуд всего каких шестнадцать золотников серебра. А в Алгачах, к примеру, есть жилы – двадцать восемь золотников дают. Там только людей подавай, а серебро сейчас же бери, без

всяких подготовительных работ... Вот хоть бы эту шахту взять: ее надо довести, по планту, до шестидесяти сажен глубины; пока же в ней девять всего сажен.

– В таком случае для чего же возобновлен Шелайский рудник?

– Для тюрьмы... Чтоб, значит, вашего брата учить!..^[20] Однако, ребята, мы болтаем, а работать-то всё-таки надо. Как бы уставщик не заглянул... Хоть брюхо-то у него и толстое, таскать тяжело, а подползти все же может. Надевайте канат на валок!

Мы накрутили на вал канат и к концам его привязали по бадье, или, говоря на горном жаргоне, по кибелю. Четверо из нас, в том числе и я, стали вертеть вал за железные ручки, двое других принимали кибель и выливали из него вонючую воду в пристроенный тут же желоб, из которого она стекала в канаву.

"Вертеть шарманку" четвером и даже втроем было совсем легко; вдвоем приходилось уже изрядно напрягаться, в одиночку же из всех нас смогли выкрутить только двое: Семенов и еще один, невзрачный с виду, хохол. Петр Петрович тоже захотел попробовать силу и, хотя с большим трудом, все же выкрутил.

– Ну, тепер я пойду, братцы. Прощайте, не бросайте робить, пока казака не пришло.

– Вот что, Петр Петрович, – подошел к нему со сладенькой улыбочкой Ракитин, – вы задайте нам лучше урок. Знаете, у арестанта тогда только и руки на работе чешутся, когда интерес есть, а так, всухую, оно что же-с? То же, что со старой бабой такому молодцу, например как я, любовь крутить.

– Для меня, пожалуй, как хотите. Триста кибелей выкачайте, тогда приходите в светличку.

– Многовато-с!..

– Нельзя меньше, уставщик осердится.

– Ну, ладно, – сказал Семенов, – триста идет!

– А тот кибелек-с, который вы сами выгасили, тоже прикажете сосчитать?

– Отвяжись, шут гороховый, некогда мне с тобой лясы точить.

– Ну, всего хорошего!

Торговать не дешево!

Красных девушек целовать,

Нас, горемык, не забывать!

Ах, что вы, девки, делаете,

От нас, парней, бегае!..

Петр Петрович ушел. Я полагал, что мы сейчас же с большим усердием примемся за работу, так как было уже не рано, а урок казался мне изрядным. В душе я удивлялся даже, что сотоварищи мои так мало торговались с нарядчиком. Но как только последний скрылся из виду, Ракитин взвизгнул от радости, подпрыгнул, потом заржал жеребцом и наконец закурекал:

– Чай варить! – закричал он. – Кончен урок!

Остальные безмолвно последовали его приглашению. Семенов взял котелок и пошел к казакам спрашивать, где они брали воду. Я с недоумением поглядел на Ракитина.

– Как кончен урок? Когда же мы успеем?

– О, не беспокойтесь, Иван Николаевич, времени у нас много будет. Вы на сколько лет осуждены-с?

Я сказал.

– Фю-ить! Много воды выкачаете за эстолько времени! Больше трехсот кибелей.

– Значит, вы обманете нарядчика? Скажете – триста выкачали, не выкачав и тридцати?

– Во-о-от-с! Догадались. Вот именно! Следуйте всегда моему правилу, Иван Николаевич: старайтесь об одном только, чтобы желоб замочен был. Замочен у нас? Ну, и великолепно!.. Ах, нет, нет! Вот тут краешек сухой, остался... Мы его позабрызгаем сейчас, вот так, вот этак... Чтоб настоящей, значить, работы вид показывало. Теперь я свободен, господа-с! Может, желаете песенку прослушать?

Не слышно шуму городского,
На веской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит янтарная луна.^[21]

– Или вот еще, гораздо лучше:

Уж за горой сыпучею
Потух последний луч,
Едва струей дремучею
Юрчит вечерний ключ!
Возьму винтовку длинную,
Отправлюсь из ворот,
Там за скалой-пустынею
Есть левый поворот.^[22]

Семенов достал между тем воды, быстро сварил чай на солдатском костре, и мы предались сладкому кейфу.

– Напьемся чайку, можно и соснуть будет малость, – продолжал болтать Ракитин. – Вы лягте-с, Иван Николаевич, ей-богу лягте, я вам постельку приготовлю. Наломая листовничных веточек, принесу на носилках с Петрушкой, и вы превеликолепно у нас отдохнете. Сам я днем не умею спать: у меня, знаете, мыслей чрезвычайно много, и кровь также большой напор делает. Так я на стреме около вас посижу. Чуть замечу- идет какое начальство, – и разбуду вас легохонько.

Но я наотрез отказался от этого любезного предложения, сказав, что тоже не умею спать днем и потому предпочитаю поболтать.

– На сколько вы лет осуждены, Ракитин?

– На одиннадцать. Я ведь, Иван Николаевич, совсем безвинно в работу пошел. За шапку. Вот побожиться, за шапку!

– Как так?

– Был я сердит на одного парня... Вот. Петька знает его, Трофимова Алешку. Мы все ведь из одного места, из Енисейской губернии – и Гончаров, и Петька, и я... Ну, из-за девок, конечно, вышло... Вот и надумал я попочтевать его хорошенько, то есть ребра от души пощупать. Подговорил Сеньку Иванова. Укараулили мы с им раз, как Алешка выехал куда-то со двора, пали в кошеву- и айда за им следом. Нагоняем на степу: "Стой!.." Он туды, сюды метаться... Нет, брат, шалишь. Я прыг в его кошеву, вскакиваю, ровно кошка, ему на грудь – прямо зубами в груди впиваюсь... У меня, знаете, привычка такая: когда в гневе я, сейчас зубы в ход... Сенька- тот одной рукой за машинку его (за глотку), другой- под мякитки жарит. Здорowo употчевали голубчика, изукрасили так, что не рыдай, моя мамонька! Избили и бросили в снег. Я еще снежком взял малость заporошил. Сели опять в кошеву – и айда по домам. А Алешка возьми да и отживи! Вылез, как медведь, из-под снега, в крове весь... Пришел прямо к сельскому старосте и подал на нас с Сенькой заявление, что мы у него, мол, шапку и денег семьдесят пять рублей отобрали. Сделали у нас обыск: глядь-т и впрямь у меня в кошеве Алеш-

кина шапка лежит! Пришло кому-то из нас в дурью пьяную голову – шапку у него отобрать, да потом и из ума ее вон! Сами просто диву дались: как попала? На что брали? А уликой она меж тем большой явилась. Так, за шапку только, и в каторгу пошли- на одиннадцать лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова "Благодарение господу богу...". В стихотворении изображена знаменитая Владимирская дорога, по которой гнали арестантов в Сибирь.

2.

Глава первоначально называлась: "Дорога". П. Ф. Якубович, приговоренный к каторжным работам, был отправлен этапом в Карийскую каторжную тюрьму (Читинской области). Начало "арестантской жизни", этапный путь и все, что ему предшествовало, описаны в первой главе.

3.

Условия этапного пути, и, в частности, его наиболее тяжелого участка – от Красноярска до Иркутска, описанные автором, относятся к 1887 году. Сибирская железная дорога начала строиться в 1892 году, а участок ее от Красноярска до Иркутска был открыт только в 1899 году.

4.

Якубович пробыл в одиночном заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости два года (1884–1886), и в Доме предварительного заключения еще полгода.

5.

Аналогичная мысль была высказана Ф. М. Достоевским в "Записках из мертвого дома": "Кандалы – одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная... Бежать же они никогда никому помешать не могут" (часть вторая, глава 1. Гошпиталь).

6.

Автобиографический эпизод – Якубович не видел пришедшей прощаться с ним матери.

7.

Переживания Якубовича, ошибочно принятого за уголовного, рассказаны им в очерке "Вместо Шлиссельбурга" (СПб., 1906, стр. 2–3):

8.

Бродни – название сибирской обуви. Бродни-левиафаны – здесь: огромная по величине обувь.

9.

Л. В. Фрейфельд (1863 – ум. после 1934) – народоволец, отбывавший каторгу в Акатуе с Якубовичем, – писал: "Все товарищи, которым приходилось встречаться с Якубовичем, знали, что это был человек кристально чистый, целомудренный, приходивший в отчаяние от тех грубых выражений, которые не сходили с уст окружавших его соседей, от обнаженного цинизма и жестокости, которой бравировали многие арестанты" (Л. В. Фрейфельд. Из прошлого. – Журнал "Каторга и ссылка", 1928, № 5, стр. 92).

10.

Бирюса – река в Иркутской области. Через деревню Бирюсинскую проходил большой Сибирский тракт.

11.

По пути следования, на одном из этапов в Иркутске, в начале декабря 1887 года (после трехлетней разлуки) Якубович случайно встретился со своей невестой Р. Ф. Франк (1861–

1922), тоже политической ссылкой, следовавшей в Якутскую область. Товарищ П. Ф. Якубовича народоволец А. В. Прибылев вспоминает: "...хлопоты о разрешении венчаться... уже приходили к концу, когда оба они должны были двинуться в дальнейший путь по разным дорогам и тем отложить на долгое время закрепление своего союза..." ("От Петербурга до Кары в 80-х годах". М., "Колос", 1923, стр. 75–76).

12.

В письме к Н. К. Михайловскому Якубович выражает свои опасения за судьбу этой сцены: "Если уж в "Дороге" цензор счел нужным выбросить невинную сравнительно сцену с казаками-конвоирами, то тем более оснований бояться, что он захочет удалить все, касающееся более высокопоставленных лиц... Таков предел русской литературы, его же не перейдешь..." (Письмо Н. К. Михайловскому от 12 октября 1895 г. – Институт русской литературы Академии наук СССР. – в дальнейшем: ИРЛИ).

13.

Вечный жид – образ библейской мифологии: человек, осужденный на вечное скитание.

14.

Под именем Шелаевского рудника Якубович изобразил Акатуйский рудник, в котором работали еще декабристы. На Акатуйском деревенском кладбище, по свидетельству Якубовича, находился памятник над могилой декабриста М. С. Лунина. В брошюре Л. Мельшина- П. Якубовича "Вместо Шлиссельбурга" описывается история создания этой "образцовой" каторжной тюрьмы: "...в конце 80-х годов прошлого столетия, когда правительство Александра III решило вернуться в отношении политических каторжан к режиму жесткой николаевской эпохи и поставить их в одинаковые с уголовными условия жизни, – оно вспомнило опять об Акатуе и... начало строить там "образцовую" тюрьму, размером на 150 человек, где политические должны были жить и работать вместе с уголовными" (Л. Мельшин. Вместо Шлиссельбурга. СПб., 1906, стр. 14, 15).

15.

Этот эпиграф запрещался цензурой во всех изданиях "Мира отверженных" до 1907 года. Как отдельное стихотворение "Шелаевский рудник" опубликован в сборнике стихотворений П. Я. (П. Ф. Якубовича) в издании 1898 года. Вызванному в цензурный комитет В. Г. Короленко удалось отстоять это стихотворение при условии пропуска стиха "Вы ли, святые страдальцы свободы...", посвященного декабристам, отбывавшим каторгу в Акатуе.

16.

Прототипом штабс-капитана Лучезарова был капитан Иван Михайлович Архангельский. Изображением Архангельского – Лучезарова Якубович очень дорожил и опасался, что образ его подвергнется цензурным искажениям. "Особенно боюсь, что пострадает фигура Лучезарова – этой, можно сказать, души "Отверженных", – писал Якубович Н. К. Михайловскому, издававшему "В мире отверженных" (письмо от 12 октября 1895 г., ИРЛИ).

17.

Строфа из стихотворения Т. Г. Шевченко "Кавказ".

18.

П. Ф. Якубович писал: "Разгильдеев – знаменитый в истории каторги горный инженер, управлявший в 50-х годах Карийскими золотыми промыслами и варварски обращавшийся с

арестантами и заводскими крестьянами" (Л. Мельшин. Любимцы каторги. Харьков, 1901, стр. 4).

19.

Автор песни – поэт 1840-х годов Г. Малышев.

20.

Весь диалог о нецелесообразности затрат на Шелаевский рудник, ввиду его малой рентабельности, в журнальном тексте был выпущен цензурой. Истинная цель возобновления работ на руднике достаточно раскрывается частыми заявлениями Архангельского (являющегося прототипом Лучезарова): "Мне не нужен ваш труд – нужно ваше изнурение..." (В. Александров. Каторга и ссылка (Из воспоминаний). – Журнал "Современник", 1912, № 2, стр. 201).

21.

Песенный народный вариант стихотворения Ф. Глинки "Узник".

22.

Песенный народный вариант стихотворения М. Ю. Лермонтова "Свиданье".

48.

В письме к Н. К. Михайловскому от 12 октября 1895 г. Якубович писал: "Когда писались "Отверженные", у меня не было под рукой "Записок из мертвого дома", и читал я их за десять лет перед тем. Каково же было мое изумление и досада, когда я узнал впоследствии... что, точно на грех, плац-майор Достоевского тоже носил очки и тоже был прозван "восьмиглазым"... Не всякий даже поверит, что это простая случайность, данная самой жизнью. Очки я давно уже просил везде выкинуть..."

49.

Имеется в виду русский критик и историк литературы А. М. Скабичевский (1838–1910), написавший книгу "Каторга пятьдесят лет тому назад и ныне" (А. Скабичевский. Сочинения в двух томах, т. 2. СПб., 1903, стр. 746).